

проникнуться связью времен и непостижимостью
всего сущего, да и топать на боковую.

— Забодала вас?

— А у нас коррида?

— Ну а что у нас?

— У нас, дусечка, долгий переход с «вы» на «ты».

Вот что. Разочек тыкнула очаровательно в присутствии Армана Софии Септимани, и баста?

— А вы заметили?

— Нет, Дуся. В том-то и штука, что не заметил.

Она рассмеялась. И снова жилку из меня потянула.

— Разочаровала? И продолжаю?

— Очаровала. И продолжаешь.

Она вздохнула.

— Было очень вкусно. Спасибо. Что-то не так?

— А давай, Дуся, выспимся наконец. Утро вечера. Стели себе на диване в гостиной. Там хорошо. И спокойной ночи.

— А вы где будете?

— Ай-яй-яй!

— Спокойной ночи, Иван Александрович.

День второй.

25 декабря, 1991, с полуночи до полудня.

*За это время Иван с гостями увидят новые сны
и успеют плотно позавтракать*

Я с удовольствием растянулся на шкуре и выдохнул пережитое; и несколько раз его выдохнул. Но сон всё же закапризничал, не шагнул ко мне,

распахнув по старой дружбе сладкие объятия, а переминался где-то у порога с ноги на ногу, и я присел к столу под зеленую лампу и раскрыл наобум Тристрама Шенди. Как говорят охотники на бенгальских тигров: а непонятно уже, кто за кем охотится; так и тут, раскроешь наобум Лоренса Стерна, и не знаешь уже, кто кого раскрыл. Угодил я с маху на финал, где «— Господи! — вскричала мать, — что это за историю они рассказывают? — — Про БЕЛОГО БЫЧКА, — сказал Йорик, — — и одну из лучших в этом роде, какие мне доводилось слышать.» Таков итог пятисот страниц, скучнейших и прекрасных, о жизни и мнениях одного джентльмена, и дальше о Тристраме ни полслова. А дальше уже сам Стерн отправляется в *сентиментальное путешествие по Франции и Италии*, и я с ним тут же без колебаний, потому что, коль скоро сумбуром рассказа о Шенди я себя неизменно мучаю во благо души и характера, то в *сентиментальное путешествие* пускаюсь всегда налегке и с удовольствием, перекачивая во рту, как леденцы, слова этого пастора из Йоркшира. И вот же от изначальных, давно знакомых слов, «Во Франции, сказал я, это устроено лучше», покатил без оглядки с ним по резвым главам, имея в виду, тем не менее, спрыгнуть с любой страницы в любой момент к себе на шкуру и в сон, да так и не изловчился, а одолел весь путь, все его перегоны, аж до самого обрыва, где сам Стерн (или не сам?) себя решительно обрывает на том, что *fille de chambre*, услышав, что между ними идет пререкание, и боясь, как бы за этим не последовало враждебных действий, тихонько выскользнула из своей каморки и под прикрытием полной темноты так близко прокралась к их кроватям, что

попала в разделявший их узкий проход, углубилась в него и оказалась как раз между своей госпожой и пастором, и он сообщает: «— Так что, когда я протянул руку, я схватил *fille de chambre* за — —». И финита. Так с юности со мной и путешествует повсюду «я схватил служаночку за...», плывёт оно рядом, и плывёт, и куда ж нам плыть? Вот достанет мне времени, сил, жизни, дурасти, непременно вот сочиню себе опус с таким обрывчиком. — Я проник ей под одежды и схватил её за... — Или попроще. — Я вскарабкался на неё и вставил ей в...

И всерьёз я размышляю над этим или по приколу, еще пока неизвестно.

Не глянув на часы, я погасил зеленую лампу, пожелал доброй ночи барону и Дару Событию и запер дверь к себе, повернув дважды в замке латунный ключ; но потом, устыдившись своего малодушия, уже от шкуры вернулся к двери и повернул ключ дважды обратно.

Снилось мне всё подряд и без угрызений. Мама с папой, бывшие жены, оба сына в улыбках добрых, друзья боевые, все живые, сестры милосердия и кузины с кузенами, Северный полюс и Антарктика, белые медведи и летающие тарелки, и сам я летал, на бреющем вдоль улиц и высоко над обрывом над морем, под угрозой падения, если вера в себя убавится, и она убывала, и падал, и возвращал её, и взмывал, и тарасились на меня зеваки внизу, и толковали там меж собой о том, что опять вот, мол, Ивану летается, опять, значит, мол, куража в себе понаскрёб, а они уж, неподъемные всем скопом внизу там, уж знают не понаслышке, что, дабы летать по небу, кураж надобен; не иначе как Ванька

заново втрескался, а то, может статься, что и Нобелевку дураку присудили, или вот-вот присудят, за эпопею о похождениях с Дороти и бароном, а что? разве ж не об этом, как приложится к бутылке, так только и судачит с первыми встречными? вот и набрался ему, значит, электорат и перевесил своей завзятостью колебания в Швеции с недомолвками судей строгих из Комитета, и вот вам, значит, вот; я в другой раз возразил бы, а тут опасался, что могу шмякнуться, и потому счёл за лучшее не перечить, а извлечь из такой катавасии себе урок на потом, и положил первым делом себе новое смирение, поболее прежнего раз эдак в двадцать, и язык не распускать за бутылкой впредь, а то ж ерунда выходит; а еще вот любовь, значит, не прозевать, такую, что с ней летается безо всяких пропеллеров тебе в задницу; и пробудился из этого сна в другой сон в зале Эрмитажа, влетев туда, где среди полотен старых фламандцев красовалось на стене и то, ещё не написанное, моей кисти, и на нём, ярко и заразительно, изображен был я сам в тайге на сопке, жилистый, с торсом неотразимым, в пиратской косынке и с серьгой в ухе, и рубил сосну вековую, в три обхвата, потому что надо, вот время вышло, и знал, что не надо, что нельзя, потому что держит она корнями прочно планету на орбите, а выпустит, рухнет вот, и мы всем миром рухнем и ухнем в бездонный космос, откуда не жди возврата; и вот всё ж стал к тому холсту, вопреки, прямо в зале, и положил на него рукой мастера первые смелые мазки; и пробудился опять, но опять не на шкуре, а в Отраде на берегу у затопленных барж с Лидочкой и Санькой, и Лидка-Златка плакала, что зачем

отпустил её, а Санька хлопал в ладоши радостно и обещал мне стать укротителем; и Нинка с Гариком тут же целовались взапас, отбиваясь от комаров, и пили пиво, а Баранов, друг боевой, возвышаясь, как принято, над общей неразберихой, норовил досказать мне всё же, почему его деду Антуфию, тому, что фехтом у буров, причитался орден от Британской короны, а то ж непонятно; и Анжелика с улыбкой от Леонардо, не к месту и не ко времени, по-детски уверенная в нашем обожании, спускалась к нам сюда по Потёмкинской лестнице, в одних трусиках и с бокалом.

Что-то грохнуло об пол, и я подвёлся, уже наконец не повсюду там, а прямо здесь у себя на шкуре, и сунул руку под подушку, где должен быть «маузер» по уму; должен, конечно, но не было.

— Не шуметь? — спросила Анжелика. — Или ты уже встал?

— Который час?

— Не знаю. Кажется, утро.

— Глянь там на котёл. Рядом там с «мерседесом».

— Восемь, без пяти.

— И что это было?

— Сабля, Вань, — сказала Анжелика. — Тяжелая. Пардон, Ваня, не удержала.

Для неё у меня было несколько имён без затей. Анжик, Жика, Лика и еще парочку.

— Абордажная, — сказал я. — В ней полпуда стопудово. Думать, Жика, хорошо бы, прежде чем ручонками хватать. Не зашиблась? Чего так вырядилась?

На ней был мой свитер, или Барановский, и мои носки вязанные, что на ней как валенки.

— А она кто? — спросила она.
— Багира?
— Ну да.
— А она Багира.
— А супруга где?
— В Барнауле.
— Где?! Импозантно! А эта?..
— Совершенно верно. Из Барнаула. Сообразила?
— Ну ты, Ваня, артист! Ну честно. Оригинального жанра. Что тут можно сообразить?
— Отсюда туда и сюда оттуда. Поняла наконец? И никакого мошенства.
— Я голодна. Накормишь? И я хочу тебя, миленький. Возьмешь?
— Так сперва что?
Я поднялся со skóry и шагнул к Анжелике; она прильнула, положив руку мне на грудь, а в другую, приветствуя, взяла сонливца, вставай, дружок, просыпайся, и ответила безотказно на мой родственный поцелуй.
— Ну, как? Определилась?
Она вздохнула.
— Я всё-таки очень голодна. Просто смэрт!
В дверь, что полуоткрыта в тёмный коридор, стучат негромко и продолжительно.
— А не заперто!
Те же и Багира. А вот паузу немую, ту в другой раз. Потому что сходу с порога вам контральто:
— Так не в том же дело, что нараспашку тут всё у вас.
— Да? А в чем?
— А в том, что кто как воспитан. Правда же?

— Заходи смелей, Сарра, дорогая! У нас тут ничего такого, чего б и тебе нельзя бы.

И Багира прошагала сюда по всем коврам в красном свитере и хайратнике поверх распущенных двумя волнами на прямой пробор вороных волос и в белых брюках наотмашь над высоченными каблукками красных туфелек. Не иначе как в прошлом воплощении отрицал я сдуру такой фасон, раз попёр он на меня тупо так отовсюду и цветом, и стуком, и сверкуче и матово, на разных ножках одна другой краше.

— У тебя тоже есть? — спросил Анжелику.

— Ну конечно! — ответила сразу на вопрос непонятный, да какая ж разница; и за это ей можно прощать и прощать.

— Спросить хотела, — сказала Багира, подойдя вплотную. — Завтракать чем пожелаем?

— Вы ангел! — сказала Анжелика. — А давайте съедем всё что есть! А здравствуйте, добрая душа!

— Доброе утро. А вас током бьёт? — она кивнула куда кивнула. — Прилипло?

Анжелика рассмеялась весело и звонко, позабавила старика, и за этот смех её бесподобный ей, разумеется, тоже частенько сходит с рук всё на свете.

— А вы знаете, да? — сказала она. — Вижу, не понаслышке. Не оторваться ж, правда?

— Я вам, девушки, не мешаю?

— А я вам? — спросила Багира.

— А я вам? — спросила Анжелика и звонко расхохоталась. — А можно ей тоже, Вань? Пардон! А Багире можно?

— А можно нет? — сказала Багира.

— Нельзя, — сказал я.

— Ну почему, Вань?! — Анжелика распахнула синие глазки. — Ты ж не жадный?

— Так а что нельзя? — сказала Багира. — Вы кому сказали?

— Ну загалдели! Птичий базар. Всё нельзя.

Я притянул Багиру за руку, и их ручки уместились бок о бок, без толкотни.

— Ну вот. Доброе утро всем.

— Доброе утро, люди добрые. Вы ангелы.

— Здравствуйте, Иван Александрович.

— Ну вот, — сказала Анжелика. — Все взрослые наконец. Мир?

— А была война? — спросила Багира.

— Ха! Нет, конечно. Это мы с тобой так за мир боролись. — И сама хохочет, и всех насмешила. — Перейдем на «ты», ладно?

— Да уж само собой, — говорит Багира. — При таком знакомстве. Можно отпустить?

— Стой! Я первая. Подержись еще.

И смех у Анжелики звончее йодлей в горах Швейцарии.

— Подтолкни, Вань. А то, Багира права, прилипла.

Я легко оттолкнул её, и она, дурачась, попятилась и со смехом подула на ладонь.

— Кипяток! А чего ты ему выкаешь? Ради понта?

— Шик такой у нас, — сказал я. — Да, Сарра?

И Багира благодарно кивнула мне.

— Ой, ну картина маслом! — Анжелика захлопала в ладоши. — Слушай, мать, я тебя умоляю... Ну когда еще такое?.. Выкни ему, умоляю, пока еще его держишь! А? Ну! Ну хоть что-нибудь...

— У вас все такие? — спросила Багира.

— Нет, не то! — воскликнула Анжелика под-
стать заправскому режиссёру. — Что-нибудь про
него. Ему. На «вы». Понимаешь?

— И например? — сказала Багира.

— Ну, придумай. Ох, Иван Александрович, у вас
эта штука, эта ваша, как у слона! Можешь?

— Как у слона что? — отчеканила Багира с
достоинством аристократки на кухне с кухарками.

— Ну, решай! Можно и про хобот.

Рассмешила всех, даже балаганную. Отпуская её
с арены, я поцеловал её.

— Не тушуйся, Сарра. В обиду не дадим.

И оглушительно хлопнул в ладоши; Баранов бы
был доволен.

— Всё! Compliments приняты. А теперь на
арене — завтрак!

Я усадил нас опять на кухне. По наитию, не по
лени. Родная библиотека, она же кабинет, она же моя
берлога, видать, востребовала себе передышки. Стул
на кухне под форточкой снова был припорошён и,
отряхнутый от снежка, отставлен в сторону, а на его
место принесен очередной из трофейного гарнитура.
Анжелике выдали теплые шаровары.

— Спасибо, мать, добрая душа, — отказалась
она от предложенных Багирой. — Хочу Ванины. А
свитер чей на мне?

— А друга нашего, — сказал. — Укротитель у
нас. Баранов.

— Баранов?! Горных, что ли? А за козочек не
берётся?

— Фамилия. А распоряжается тиграми.

— В самом деле? Респект товарищу! Это он из Барнаула? А свитер как твой. Не подумала б.

— Ага, — сказала Багира. — Они два сапога. Ты б их рядом видела.

— Да не надо мне. Я Гарика знаю. Знаешь? Тоже вот два брата тебе. Как по заказу. А у тебя, Ваня, что ни друг, то брат. Скажешь, нет? Этот ваш, небось, тоже, прежде тигров, душмаников колошматил. Угадала?

Ей не ответили, а Багира спросила:

— А свитер Гарика надевала?

— Свитер Гарика?! Не помню. Кажется, не пришлось.

— Ну вот видишь, — сказала Багира, и такой её юмор был Анжеликой звонко оценен.

— Обожаю в шмотках Ваниных! Отдельное удовольствие. А ты?

Багира передёрнула плечом.

— Ты что, Лица, вообще без комплексов?

— Я? Надеюсь, что. А ты? Особых я не заметила.

— Думала, что без, — Багира вздохнула. — Пока ты не появилась.

Смешно тут всем, как я погляжу. И пока этот трёп, на плите разогревают картошку, и шкворчит яичница из остатков с лотка, а осетрина в казане под моей стражей к огню не допущена.

— Иван Александрович, а вы водку будете?

— Во как! — восклицает Анжелика. — В девять утра? По-взрослому! Да у нас тут вертеп? С Рождеством, кстати, дамы и господа!

— Ты ж не католичка?

— Да я вообще. Так. Что? К слову.

— Обойдусь пока, — отвечаю Багире.

— А шампанское у вас есть?

— Для кого?

Анжелика смеётся. А шампанское у нас есть. И наконец мы завтракаем. Она с бокалом, а у нас с Багирой в чашках зелёный чай. И холодная осетрина сегодня еще лучше, чем вчера. А Анжелика щебечет про ангелов и людей добрых, и возносит им благодарности за то, что спасли девушку от голодной смерти.

— А ты спортом опять занялся, да?

— Что водку не пью поутру?

— Да нет. Я о том, что представил очам нашим там на придирчивый суд наш. Да, Багира? Он еще аполлонистей стал, чем был. Представляешь?

— Не представляю.

— Вот именно! Куда ж уже дальше? Жаль, что оделся. Да?

Багира сражается.

— Тут прохладно под форточкой, — говорит она.

— Да разве же, Багирочка, в этом дело? — философствует Анжелика, попивая шампанское и уплетая яичницу с осетриной. — Согласись, мать, что Ваня у нас явление больше мифологическое, а не температурное.

И всем весело. И смешно всем.

— Но мы ж посидим еще голышом? Не упустим?

— А вы еще и молчать умеете, — говорит мне Багира. — Сила безмолвия?

Я молчу.

— А скажи, Анжелика, ну а в самом деле, что, вот правда так, без рисовки, нету комплексов, и хоть тресни?

— Да, Багира, да, душа моя, вот так, правда, нету и хоть тресни! По наготe-то уж точно. И откуда? Ты ж меня видела. Само совершенство!

Смешно, и смеёмся.

— И молода ослепительно! — цитирует она поэта. И дальше от себя: — И мне бежать скоро. Так что время дорого.

И дальше от себя же, без переходов, бегло излагает нам, мне и Багире, о том, что Кирилл, конечно же, сломал себе ногу, а кто б уже сомневался, и не где-нибудь, а прямо под Дюком на ступеньках, забраться ему вздумалось к Арману Септимани, и не в другое время, а вот именно вчера утром, сразу, как приехали, и его, значит, в травматологию на Пастера, а там укол ему, и он в кому, вот так вот безо всяких вам там ох да ах — бац! и в кому, криз ему там какой-то с этой анестезией, сепсис-шмепсис, а не укол.

— Идиосинкразия! — выговаривает Анжелика с полным ртом. — Вообрази, Ваня, и ты, мать, вот мне радости-то! Прикатали приборохлиться.

И дальше Кирилл, значит, у них там в полной отключке в реанимации, а она при нём в коридорчике, вся в кусках, и ума не приложит, что же маме его сказать, если он тут коньки отбросит; проколбасилась аж до вечера, пока не сказали наконец, что очухался, нога в гипсе и всё в ажуре, ну и она тут, значит, на радостях мне названивать со всех ног, была не была, потому как не ночевать же ей, люди добрые, в одиночку в каморке без окон у какой-то бабули на Фонтане, куда их Кирюша завёз с вокзала, прежде чем к Дюку отправились.

— Кирилл, чтоб ты понимала, — сказал я Багире, — это ейный хахаль. Со времён ещё старших

классов. Редкая балбесина. Подтирай за ним. Торчок шкодливый.

На такую мою тираду Багира вытаращила глаза, а Анжелика вступилась вполне миролюбиво:

— Ну что ты ему всё простить не можешь. Быльём поросло. Я, мать, от Кирюши залетела после девятого. А Ване вот вошкаться со мной выпало. Рыцарю, мать, рыцарево. Ты согласна?

— А скунсу скунсово, — сказал я.

— Глазам не верю, — сказала Багира. — Вы, Джованни, гневом полны? Неужели?

— На дух не переносу, понимаешь? Таких как этот её Кирю-ю-юша.

— Тут, мать, нам с тобой назубок знать надо, — говорит Анжелика, — что Ваня защитник девушек, знай, да по всем статьям. Ему можно. Нет достойных, мать, прах с сандаликов отряхнуть ему.

Багира аплодирует.

— А шампанское тебе, вижу я, для тебя незряшно. И не повторишь за тобой без шампанского.

— А мне вот «Джованни» твой пришелся донельзя. Сама сочинила? Или уже было тут до тебя? А поделишься? Я нечасто буду. Я паинька. Да, Джованни? Паинька я?

— И смотри вот, Багира, — говорю, — как она жизнь устроена.

За окном продолжают бесшумно, чуть наискось, падать белые хлопья, и ко мне из форточки по одному залетают. И чай, глоток за глотком, бодрит и согревает. А девушки примолкли, смотрят на меня, как две тихони с первой парты, те самые, в ком, как в тихом омуте...

— Что? Чего глазки тарашите?

- Ждем-с, — говорит Анжелика.
— Чего? За жизнь? Так понятно ж и так всё.
— А вы всё же, Иван Александрович, расскажите, как же оно устроено.
— Ой, лукавые!
— Мы такие.
— И как же нам быть?
— Вам виднее.
— Рассказать?
— Ага.
— Ну давай уже, Вань. Интересно ж.

И как же вкусно я закурил свою «Яву» из твёрдой пачки.

— Ну, слушайте. — Дым из ноздрей такой живой и вкусный, что можно бы за деньги торговать.
— Слушай, Сарра. Вот она, значит, жизнь как устроена. А устроена она, значит, вот как. Для начала любовь зла. Это второе. И сердцу не прикажешь. Это первое. А теперь. Это вот волшебное создание, — я потрепал Анжелике её прекрасные кудри, — это чудо из века девятнадцатого, прямиком к нам сюда с портретов Боровиковского трудами ангелов и архангелов по беспричинной их милости в облегчение нам крестных путей наших, что оно учудивает с голубых своих глазок на заре созревания, дабы ей, Сарра, жизнь, значит, мёдом не показалась, что? Вместо того, чтобы. А вот что. Присобачила к себе этого обормота на свою голову, ну, и сама к нему, кнэшно же, тоже присобачилась каким-то боком, бочком своим аппетитным вот, и тащит его, и тащится, сквозь этот вяло их протекающий романсочек с припеваньцем вот уже сколько лет с перерывами на перерывы для хождений по рукам, по

другим, и по мукам, тоже иным, чем эта. Вот как оно как. И как тебе?

Багира молчит, а Анжелика чмокнула меня в щёку, и я подлил ей в бокал.

— Серdito, — сказала Багира.

— Ну, как есть.

— А тебе не больно такое слушать?

— Из его-то уст? Благодетеля? Ну нет! Говорю ж, сандаликов недостойны. Он мне, Багира, Ваня наш, Джованни твой, целиком во благо. А тебе разве не так же?

— Мне? У меня глаза опять на мокром месте. Вот что. Прошу прощения.

— Из-за меня что ли? Брось, мать. Со мной всё в ажуре.

— Скорости тут у вас, — говорит Багира, утирая слёзку. — Не справляюсь. Провинциалка.

— А знаешь, как Южанин со мной познакомился? Не знаешь?

И Анжелика скороговоркой, хотя и не без смачных по ходу ее пришлёпок, изложила свою версию эпохального события; и выходило там у неё, что как-то летом пристроила её мамочка её безо всякой себе задней мысли к нам сюда в пансионат в Черноморку, чтобы девочка на море, значит, хорошенько дух перевела и силёнок поднабралась бы перед классом выпускным с поступлением, ну и наша Нарышкина юная с портрета Боровиковского пустилась, надо понимать, набираться уж сил нам так набираться, и кто сам в пятнадцать не вырывался на свободу из-под опеки, так и тот всё равно камнями тут пускай не больно кидается; и случилось, Багирочка, как случается, угодила таки дурочка под

процесс: хлебнули с подружкой под вечер лишнего в развеселой компании морячков, курсантиков мореходки, а те и насели; подружка вот потрезвее да порезвее, так и выдралась, унесла ноги, что колесом, а её-то и особо уламывать, догонять, не особо парились, потому как дурнушка та еще, а красавицу нашу под белы рученьки своими жаркими и влекут всем гамбузом под кусты на травку, и уже расстелили там для употребления, кочевряжься, не кочевряжься, а силёнок, Багирочка, чтоб отбиваться, так уже и нетушки, а на помощь звать, так ищи-свищи над обрывом, ночка тёмная, ни души, ветер с моря, да шум прибоя; только и могла, что повизгивать, чтоб пустили, что не будет же, что не надо же, что не хочет же, ну, понятно, да, но то так уже, больше блажь, больше крику для вентиляции, чтобы сдуру не задохнуться; но однако же, по её словам, трепыханья дурочки слабосильные не пропали, мать, всё же втуне, и явился Южанин, себе представь, вырос вдруг из тьмы над обрывом, как из шторма сюда взлетел, с голым торсом и полотенцем на шее белым, и отбил, как в сказке, дурочку у тех дурачков; чем не повод вам для знакомства?

Багира дух перевела.

— Ну ты излагаешь!

— Говорю ж, мать, картина маслом.

— Кино по нервам! — вывод Багиры. — Меня, Анжелика, вот только что с тобой заодно чуть не это.

— Я потом уже, Багира, так перепужалась, что пять дней колотило. А спаситель меня отхаживал. Да, Ваня? В холостяках выступал тогда. У себя на Сегедской. На шкуре своей ошкуча.

— Смотрю, целебная.

— Ой, не говори! Психоделическая!

— А сколько ж их, Анжелика, пардон меня, на тебя пришлось? А верней, не пришлось.

— Морячков тех? Да, не пришлось. Ну, не знаю. Восемь. Может, одиннадцать. Сколько, Вань?

Я пожал плечами.

— Не считал.

— А вы их что? — спросила Багира.

— Да ничего. Обошлось.

— Кого ты, мать, слушаешь! — сказала Анжелика, опять жуя осетрину. — Обошлось — это как понимает инструктор по рукопашке.

— Этот её крендель, — сказал я Багире, — еще и в каком-то карате подвизается. Ну, и надо оно ему?

— А причем тут? Вы к чему?

— Да ты, Багира, меня слушай. Морячкам там ничего, мать, на фиг не обошлось. Просто жуть. Никогда раньше такого не видела. И еще раз не пожелаю. А спаситель, кстати, не сам был. А с дамой. Таджичка, да?

— Наполовину.

— Ну да, Маруся ж. Ночные, мать, там у них купания в шторм под звездами гольшом. На мою, понимай, удачу. Вот она вот да молодец! Отстояла невозмутимо, рядышком, звука не издав, вообще, мать, без суеты, весь, как у Южанина он зовётся, э-пи-и-и-и-и-з-з-з-з-ззод, и взялась тут же сразу меня голубить, опять же молча, в себя приводить. И потопали мы оттуда в обнимочку втроем на дорожку к шестнадцатой станции Черноморки вашей, и там «фару» ловить от греха подальше.

В перипетии её версии вмешиваться не стал я, потому как счёл уже удачным, что Анжелика, по

забывчивости или по дружбе, ни полсловом не обмолвилась про ствол, а его там, увы, обнажить был в конце концов всё же вынужден, когда блях на ремнях замелькало больше, чем управиться мог бы.

Багира голос подала.

— Ты прости меня, Лика, Бога ради, — сказала. — Я такого обычно не спрашиваю. Но вот уже третий день только и делаю, что делаю то, чего обычно не делаю.

— Ну, вперёд! — говорит Анжелика. — Флаг тебе.

— Ты скажи, только не обижайся, пожалуйста, говорю же. Ты скажи, так они успели тебя?

— Что?

— Ну, успели тебя? Что-нибудь.

— Трахнуть, в смысле?

Багира кивнула, пунцовая, на глазах опять слёзы наизготовку. Да хорошая она, блин, деваха, подумалось внятно. И чего ты маешься, старый мальчик?

— Эк тебя, — сказала Анжелика, — во куда запроторило!

— Сама виновата. Кином своим с нервами. Разворошила Бог знает что. Не отвечай. Прости.

— Да чего ты как неродная? Не рыдай вот только. Да-а. Смотри, ишь ты! *Южанин* даже в такие тонкости ко мне, вроде, как сам не вхож. Да ему и нужды никакой. Я сама ему всё как на духу, — она рассмеялась. — А там, Багира? Ну сама суди. От одёжек мигом избавили. От того, что мешало им. Повалили на спину. Кстати, что-то под задницу всё же сунули, дерюжку какую-то. Позаботились. Ну, а дальше не шевельнуться. Скопом всем. Оно много-руково. А тебе что, не приходилось? Я шучу. Держат

за ноги, развели, задрали. Держат за руки. Ну и первого запустили. Он по жребию. Жеребец. Он как вставил мне, я чуть дуба не врезала. Чуть до горла мне не достал. Жестко драл. Его торопили. И другие урвать пытались, чтобы время зря не терять. Толкотня вокруг. Меня лапают где достанут. В руку сунули. И в другую. А вот в ротик не добрались. Ну и кончить никто не кончил. Не изверглись мне никуда. Долго длилось, а вышло коротко. Продолжалось минуты две. И случился на нас Южанин. Спермы не было. Не успели. Ты об этом? Так вот как было.

Багира слёзки пальчиком утирает. А Анжелика наконец управилась с завтраком.

— Как по-твоему? Меня трахнули?

— Нет, конечно. Так не считается.

— Так и думала. Курам на смех!

— Вот облом, да?

— По всем статьям.

Тут привал нам на марше по изливаниям. Мне бы, братцы, повеселеть от того, что подружки вот как подружки. Ну, а мне всё опять наскучило. Улетучился смысл нащупанный. Ни вчерашнего. Никакого. За тверёзость с утра, кроме прочего, вот такая, выходит, выплата.

— Сеньориты мои дорогие, а пойду я к себе поработаю с понтом писателем. А? Не потеряетесь?

А и потеряются, так, может, оно как раз то самое, чего не хватает. Не проверим, не узнаем.

— А мне ж тоже, люди, бежать. Заболтались.

— Да уж, — грустит Багира. — Особенно Иван Александрович.

— Я про нас, Багира, с тобой. А Смолихина, Вань, она когда в дом назад?

Закурил на дорожку.

— Не предвидится.

— Мамочка дорогая! Так ты страдаешь?! Сердешшшный! Ну артист! Драматический. Вот про нему ж никогда! Да, Багира? Нарывалась уже?

— А то!

— Его ж утешать! А нас понесло куда? Вот же бабы скучный народ. Ну, скажи! Как что, так сразу про целки свои дряблые, а тех давно днём с огнём. Ну не так, что ли?

Ну невозможно ж с ней, в хохот все, на свой манер каждый.

— Ну а что? Не так разве?

— Тебе что ж, — Багира пальчиком утирает слёзки новые, от смеха теперь, — тебе что ж, Лика, там в тот раз прямо там тогда и плеву порвали?

— Ну, — смеётся Анжелика, и ей уже смех тоже слёзки повыдавил, — ну, порвали бы, говорю же, тот жеребец, говорю ж, коль была бы. Коль обнаружили б.

Ну сил с нею нет; так их нету, что впору думать, что гэць пожаловал.

— Я что ж, дурочка? С ними целкой там?!

Точно гэць.

— То, Багира, июнь был. А с Кирюшей в мае.

Не продышаться.

— Поднесла ему, мать, свое девичество. На блюбочке с золотой каёмочкой. Сразу после девятого. Честь по чести.

Отдышались.

— Ну Слава Богу! — говорит Багира.

И лучше б она помалкивала, потому что гэць не дремал, а напротив — на руку скор был. Отдышались заново наконец. Фух. Утираем слёзы.

— Ну, сойдёт тебе пока, Ваня, за утешение?
— Более чем.
— Вернись, продолжим. А пустите? Раз вы сами тут на хозяйстве. А который час? А ты, Багира, тут как, добрая душа? Ты, Багирочка, кто тут?
— Хорош вопрос!
— Вам что, ребята, вижу, без дураков удалось, как вижу, повернуть пресловутый, я вижу, свинг? Это правда, Ваня?
— Ну нет! — возмутилась Багира, а потом передумала. — Ну, со стороны, наверное, может быть, можно увидеть, что оно всё в таком свете и представляется. Но на самом деле, Лика, это совсем не так. Никакой не свинг.
— А как, раз не так?
— Должна тебе, Лика, да? За твою историю. Потому давай знай, как есть. Господин сей Южанин меня третий день видит. А до этого знать не знал.
— Вот так фокус! Ну артисты! Ну тогда, Багира, это в твою пользу.
— Каким образом?
— А тебе идёт здесь. Вот поверь мне. You belong here, мать, как они говорят. You understand?
— I do.
— Так тем более. Язык знает?
Я кивнул.
— Как по заказу? Умеешь, Ваня! Я ж к тому и как раз, мальчишки, девочки. Чтоб ты не шугалась меня понапрасну. Я тебе, подруга, не соперница. Да, Ваня? Мне за Ваню замуж не надо. А знаешь почему?
— Не знаю.
— А не возьмет. Вот почему. Я для него, Багирочка, чересчур ветрена. А который час?

— Ну, по Гринвичу, как для вас, красавицы, скоро час, а пока без четверти.

— Это минус три? — говорит Анжелика. — Верно, Вань?

— Минус два. Мы ж теперь опять нэзгинэлы.¹ С Москвой больше не совпадаем. А в Кишиневе что, по старинке?

— Мама дорогая! Так уже одиннадцать?!

— Без пятнадцати. Говорю ж.

— Ой. Вот я коза! А подайте, миленькие, Кирюше на завтрак. Не откажите. Он же там слюной изошел.

— Видишь, Сарра, куда деликатес пропадает? Обалдуя в постельке потчуют.

И от наших с Барановым от щедрот и окученная заботой Багиры, всплывшей к ней, Анжелика, пролепетав нам в прихожей весёлую абракадабру из спасибочек, просьбочек и обещаний, унеслась в травматологию на Пастера с полной авоськой всякой снеди-переснеди.

— Сама скажу. Можно? — сказала Багира, когда за Анжеликой заперли двери.

— Мне присесть?

И я таки да присел на тумбочку у зеркала.

— Опять чужой стала, да? Волшебство улетучилось?

— Да не в тебе, дуся, дело. Что ты на себя всё берешь? Это, Дуся, гордыня щупать мир в таком ракурсе. Меняй, дуся, ракурс.

— Вам хорошо говорить.

— Да, мне хорошо. Да мне всегда хорошо!

¹ Сложная, двухходовая аллюзия на зачин гимнов — Польши и Украины. Второй станет государственным в 1992-м.

— Не сердитесь. Ну умоляю!
— Взвод, делай как я!
— Менять ракурс?
— А то!
— Уже-уже.
— Уже не чужая?
— Ну нет, конечно, — она обвила руками мне шею. — Своя в доску, — и поцеловала.

И я ответил. И этот поцелуй шагнул в историю под девизом: мы не знаем, что потом, но никому об этом не скажем.

— А давайте часы заведём? — сказала Багира, когда мы, отпустив друг друга, зашагали вслед за мной по тёмному коридору под ласковый свет торшера.

— А давайте, Сарра, пока не будем. Пускай еще постоят, пока мы с тобой посидим.

Мы уселись в кресла под торшером, будто с дачи домой приехали.

Я снял «Orient» и, держа его на ладони, увесистый, в циферблат уставясь, дождался и честно отбomкал нам с ней одиннадцать прокуренным баритоном. И Багира их выслушала без нетерпения, и эхо тоже, пока не стихло.

— А всё-таки вы, Джованни, какую-то магию всё-таки с этой их остановкой, с часами с боем, а всё-таки проворачиваете тут, да? Не в шутку ж. Ну так же ведь?

— Да обычная, Дуся, депривация чувств. Слуха вот в данном случае. Профилактика ушек, чтоб на макушке.

Она рассмеялась.

— Вас послушать, у вас всё обычно. Вы вот, выходит, никогда ничего из ряда вон. Так? Всё одинаково тут обычно, или обычно неодинаково. Это об этом?

— Всё, кроме, — сказал я. — При всём уважении.

— Кроме чего?

— А угадай.

— Ну, наверное, знаю.

— И правильно. Всё, кроме товарища вот. Показывать? Давно не видала?

— Ну, покажите. Если хочется.

— А тебе? Не хочется?

— Мне, — вздохнула, — если честно, сейчас не очень. Не обидитесь?

— Так и не станем. Ни обижаться, Дуся, ни доставать. Морока ж всё ж таки.

— А вы лукавый, сударь? Да быть не может!

— Знаешь надпись на клинке у Кочубея? Без нужды не вынимай, без славы не вкладывай.

Она рассмеялась.

— Мамочка дорогая! Как говорит Анжелика. До чего же с вами, ребята, здорово с вами! Да.

— А в лукавстве, Дуся, меня уже на днях уличали.

— Лидочка?

— Не-а.

— Неужели Баранов?

— Тоже нет.

— Да кто ж тогда?

— Репа.

— Репа?! — она помолчала по-товарищески. — И как с этим быть?

— Да-а-а... Пахать над собой, Дуся. Изгонять проклятое.

Она рассмеялась.

И потом уже не знали, о чем говорить. Я закурил.

— Опять полдень ждём? — спросила Багира после долгой паузы. — Для вас двенадцать магическое?

— Опять уличили, — я закурил еще одну. — Да, Дуся. За мною водится. Сверять дважды в сутки себя с собою. И с миром.

— И как? Пригождается?

— Сама думай.

— А сейчас уже сколько?

— А сейчас двенадцать минут двенадцатого.

— Ух ты! И что из этого следует?

— А из этого, Дуся, пожалуй, что следует вот что.

Я загасил сигарету, поднялся и взял её ладони в свои, и привлёк её, и поцеловал, и раздел, и отвёл на шкуру, и уложил, и сам разделся, и возлёг на Багиру, и заласкал её так, будто она и в самом деле была мне всем тем, чем хотелось ей во вчерашнем на кухне её обещании небесам и мне, и другими прочими еще благовестьями, о которых додуматься не додумались, ну а тут вот бездумно пожалте к нам; и готова уже, а ласкал еще, уже в муку сладкую, и она тихонечко плакала, носом шмыгая, и вошел в неё, сам исполненный предвкушения, и владел Багирой со всем упорством, на какое способен был, на какое натянут был, тетиве в подобие, всемогущей рукою того, кто над нами был, и Багира тугой подо мной была, отдаваясь всеми изгибами, всеми охами, всеми ахами, всеми всхлипами и невсхлипами; и с досадой вынул за миг до прежде чем, и забрался повыше к ней, и извергся ей на лицо и грудь; порычал, как

тигр, порычал, как лев, и, закинув голову в потолок, волком взвыл на свою луну.

— А родишь мне сына без дураков? — шепнул сразу, не отдышавшись, хрипло в ухо с серёжкой, где изумруд.

— А рожу, — ответила сразу; потом сказала: — Только к маю мне не поспеть.

Вот бушприт «Балаклавы» крейсерской и проник сюда к нам, в наш миг без тревог, из штормов предстоящей мне кругосветки.

— Есть двенадцать?

— Двенадцать есть.

25 декабря, 1991, с полудня до полуночи.

*За это время произойдет много разного,
ожиданного и неожиданного*

В кругосветку я напросился, подвернулась и напросился, чтобы выполнить обещание. Дал его я Нинке Смолихиной, гинекологу-оптимистке.

— Ну придумай, Ванечка, что-нибудь.

Обещал придумать, и вот придумалось. Весь свой блат положил, чтобы взяли неуча в морско-волковый экипаж. В январе, в первых числах этого года, закрутилось с Нинкой у нас, поехало, не спросив ничего согласия, и крутилось по нарастающей. И оно б всё, вроде бы, ничего, потому как Лидочка к тому времени переехала всех уже поперёк ураганом по имени Америго, и судьбою-злодейкой с ним разлученная, с Америго Романо, миланским тенором, вожделением вожделений, без надежды на счастье светлое укатила с папой в Цхалтубо исцелять там

раны души. Да оно ничего бы, да всё ж чего. Нинка с Лидкой родные сестры, да и я дурак там, люблю обеих. Подыскалась вот «Балаклава», но однако же дело долгое, отправляться аж через год. Ну и Нинка танго оборвала; я не смог, так она смогла, душа чистая. Кто бы, что б себе ни надумал, а она к нам в дом больше ни ногой. Только раз повидались, в августе, как случился ГКЧП. Испугалась Ниночка, что Южанина упекут в узилище. За «Ловушку для Цэдэн-бала». И примчалась ко мне в яхт-клуб; я матросом там шукирил-драил. Ночь со мной, и прощай навеки. Вот такая вот кругосветка. Вот такой теперь месяц май где-то там вдали.

— Ох, Джованни, Иван Александрович, — у меня с плеча мне Багира шепчет весомым бархатом; ну, а я на спине, на сыром ошкуе, в потолок уставился, Южный Крест ищу. — Ох, Южанин вы, сударь мой, кто ж вы сам по себе такой трансцендентный на самом деле? Ну скажите, шепни, хоть что-нибудь. Умоляю вас, не молчи.

Я сказал ей, конечно ж, вот что:

— Ну и кто же вы, доктор Зорге?

— Это всё?

— А чего ещё тебе, старче?

— А чего мне? Хочу подсказки. Это что сейчас с нами было?

— Ну, Багира! Я не настолько сведущ. Может, глянем в энциклопедии? Вон на полке есть анатомия.

— Ясно, сударь. Дурочке дурово.

— Ну, зачем? As I reckon, we've just made love. Just made love. What else?

— Nothing more?

— More than love?

— Indeed. You're right, as always, — она вздыхает.
— Хочу, знаете, чтоб вы знали, что опять почудилось, что не справлюсь, что, чем ближе я к вам, тем дальше, что мне с вами не по зубам.

— Это новый протуберанец? Как ты там говоришь, конвульсия? Или вывод твой окончателен?

Её вздох на плече у меня как стон.

— *Так* влюбилась, что всё запуталось. Вы поможете разобраться?

— Ну нет, милая! Дурака учить — мертвеца лечить. Сама разбирайся.

— А нет, так встала вышла?

— Ну, а как? *Fare thee well and if forever, then forever, fare thee well...*²

— И не жалко?

— Себя? Во как голову мне морочишь. А я вот уже раза три в тебя взял влюбился. А ты опять за своё.

— Так а что ж не так? Что же это?

— У кого? У тебя? Так скажу.

— Так скажите!

— Норовишь то и дело, Дуся, взять да выяснить отношения, коих попросту нет ещё. Вот тебе и бедлам, а не праздник жизни.

— Нет ещё?!

— Ага, нет ещё.

— Да? А что ж есть? Ничего? Говорю ж, не вру, что запуталась.

— А что есть, Багира?! Так я скажу. Вот что есть. Свалилась ты мне на голову. Просто с неба. Сквозь

² *Fare thee well! and if for ever, Still for ever, fare thee well.* — Прощай, и если навсегда, то навсегда прощай. (Лорд Байрон)

крышу. Сквозь потолок. Объявила громко, что я вся ваша. Вот. Возьмите. Не пожалеете. Ну, и я в конце концов тебя трахнул. Вот ещё раз. И всё, что есть. И какую базу другую ты сюда норовишь приладить?

— Боже, боже! Одно и то же.

Не успел я на рифму случайную попенять ей, как она подхватилась, буркнув «пардон!», и, прижав ладошку ко рту, унеслась по тёмному коридору, и оставила меня сетовать, что, едва сюда прибыло к нам спонтанности, как уже опять накатили импульсы. Встань, Иван. Поднимайся. Чего разлётся? Я напялил пумовский на себя ансамбль и призвал спонтанность, и покрутился с полминуты, может, с минуту, поработал с тенью на пяточке, на паркетке между коврами. Молотя кулаками воздух, уделил ещё ту минуту лёгким, вскользь, по паркету, мыслям, а куда ж подевался синдром похмельный, сей попутчик суровых моих деньков; вот второе утро подряд в прятки, хитрый, со мной играет. Угадать бы справа, да поточней. В чем причина? Куда девался? Не забудем, что на пути у нас с вами к сверхчеловеку всё, бывает, пучками рвётся. В кучу всё. Встреча вдруг с Барановым, отъезд Лидочки, разом-вдруг, и разлука с Санькой, как гром с небес; вот Багира на голову — как понять, что сработало первым номером? Что вторым? Не забыть сюда бы и стюардесс от щедрот его милости Аэрофлота в тех задорных, в горошек, шарфиках и помадах морковно-ягодных, и всё прочее, и всё прочее; и медведя на берегу, и загрибок Ираклия в клетке, и стрельбу из рогатки стальными ядрами, и так далее и тэ пэ.

— А ты, Ванька, еще вполне, — подбодрил меня Дар Событий с люстры с пробкой из-под шампан-

ского, в ней застрявшей от той бутылки, что Баранов Лидке, утратив бдительность, откупорил не комильфо.

— И тебе не хворать, Даруша.

Я раздвинул шторы, зажмурился и открыл двери на балкон. Распахнул их настежь. Снега тут было по колено, и светило солнце. Высветляло свинец с чернилами и белилами, и грязнилами, и само ими тонко красилось в мутноватую зеленцу. Подкатал штаны и шагнул в сугроб, погрузил с кайфом ноги в студеность влажную и вальяжно прошёлся в конец балкона. Угадал у себя за спиной Багиру на пороге. Колбасит дусю.

— Намело?

— А ты не беременна?

— От кого?

— От меня, конечно. Второй раз тошнит.

— Да. На нервы спием, дорогой Иван Александрович.

Я оборотился, и она там стояла меж распахнутых створок, в одних спаниелях, ослепительная и незнакомая. Привальяжничал к ней по своим следам.

— Нет, для паники нет причин, — мне сказала Багира. — А если вы тут про Славу, то мы с ним ещё с Мексики больше не были.

— А что так?

— А влюбился он. Если коротко.

— Влюбился?!

— А что, нельзя?

— И в кого же?

— Да какая нам с вами разница?

— Нам с тобой? Нечем крыть. Просто он намедни от меня взял жену увез к себе в жены. А так без разницы.

— Ну, простим ему, сударь мой! — улыбнулась весело, под погоду. — Дело, знаем же, молодое! Вы вот, глядим, тоже времени зря не теряете.

— Попустило, да, Сарра, значит? Хамим, стало быть? Хамим.

— А хотите, я лягу в снег? Только вы мне пообещайте, что не станете выговаривать за недавний протуберанец. А скажите мне, как умеете. А проехали, Саррочка. Наливай!

— Так уже, Дусь. Даваем-давно. Пока ты унитаз пугала. В снег, Багира, не обязательно.

— А тогда тем более. Порыв чистый!

Я шагнул из сугроба в комнату на ковер, уступая место, а Багира скинула саниели и с прыжком и визгом повалилась навзничь во влажный снег, погрузилась в него по абрисы.

— Ну даёшь! Не тогда б, так сейчас бы взял бы. Прямо тут. Хороша до одури.

— А давайте! Только скорее. Передышка ж вам ни к чему?

— Хорошо про меня научилась думать. Так держать, душа моя! Это правильно.

Протянул ей руку.

— Подъем, снегурочка!

Отряхнулись от снега липкого и укутались потеплее, и отправились пить на кухню горячий чай.

— Ну вот, Багира. Те же и там же.

— Здравствуйте, сударь мой.

— Привет, дорогая. Что успели с тобой мы за два дня с хвостиком?

Покачала горестно головой.

— Не пойму. Сумбур во мне, сами ж видите. Вчера вечером лучше б справилась. А сегодня уже не знаю.

— Два плюс хвостик равно семнадцать? Или три, четырнадцать и так далее? Бесконечное, Дуся, Пи?

— Точно Пи. Подобие сильное. Ну, а вы что скажете? Куда движемся?

— Так понятно, что в Новый год.

— Все туда. А мы куда с вами?

— Так туда же, куда и все.

— Прямо в жопу?

— Ух ты! Красиво!

— Не поверю. Вы ж не допустите.

И опять мне всё вмиг обрыдло. Что ж, доходчиво убеждает, что за год этот, год за десять, я утратил иммунитет против всякого пустообрёхства; зазевался, и с ног сбивает, как заправский адепт айкидо, зазевался, и с ног долой. Нас качало в казацких сёдлах так, что стыла по жилам кровь...

— Вам что, дурно? С лица вдруг спали. Тошнит уже от меня?

— Нас качало в казацких сёдлах так, что стыла по жилам кровь, мы любили девчонок подлых, нас укачивала любовь...

— Замудохались напрочь, да, сударь мой?

— А еще, Багирочка, водка, спирт горячий, зелёный, злой, нас качало в пирушках вот как — с боку на бок и с ног долой...

Она поёжилась; понимать надо, что и от слов, и от дымного баритона тут а капелла.

— От Махачкалы до Баку луны плавают на боку, и, качаясь, плывут валы от Баку до Махачкалы...

— С меня сейчас кожа слезет, — сказала Багира.

— Нас на грешной земле качало, нас качало в туманной мгле, качка в море берёт начало, а кончается на земле... — я проделал голосом переход на струнах. — И-и-и! От Махачкалы до Баку луны катятся на боку, и, качаясь, бегут валы от Баку до Махачкалы...

— А гитару не возьмете?

Я покачал головой.

— Ваши?

— Ха! Слова? Бориса Корнилова. Не спасла и водка. Всё равно шлепнули.

И часы нам проббили бы нынче час, как по стрелкам на «Ориенте», но у них, как помним, тайм-аут, и, качаясь, гуляет вал тишины от одной стены до другой стены...

— А хотите, пойду по городу прогуляюсь аж до вечера?

Дожил, дядя, вот дети помочь тебе норовят, уступают место в троллейбuse.

— Садитесь, дедушка? Я постою?

Рассмеялась.

— Так и как, сударь мой, отпустите? А обратно пустите?

— По первому пункту отказ. По второму швейцару велено всех Багир пускать. С пропиской в городе Благовещенск.

— А чего ж всё же не отпустить? Продышались бы. От меня бы хоть.

— Ты в гостях тут. У нас не принято.

Улыбнулась грустно, кивнула радостно.

— А идём, Дуся, я тебе читану рассказец, чтоб жизнь мёдом не показалась. Хочешь?

Багира поёжилась.

— Не вся кожа дослезла? Ваш?

— Ну, — я пожал плечами. — Моего, скажем, Дуся, так, сочинения. А принадлежит человечеству. И не для печати.

— И почему же? А что там?

— А вот прочтём, сама и скажешь, как думаешь.

— Только вот на слух, я не знаю, не приходилось...

Тут её опять настиг перепуг, что опять не то говорит, и сказала поспешно:

— Ой! Ой, роскошное предложение! Ну, конечно, хочу. Побегали слушать?

— Два чая, Дуся, и прибегай.

В библиотеке я закрыл двери на балкон, вдохнул свежести, что тут прибыло, и протёр тряпкой без швабры паркет между коврами. Вылил в ванной на себя два ведра водицы бодрой и переоделся в другую «Пуму», черную с красным, и начёс ближе к телу. А в голове полуназойливо крутилась белиберда: кто носит фирму «Адидас», тот скоро родину продаст; фольклор велик, и танки наши быстры, и наши люди разумом полны... Крайнее мне приглянулось, и я посмеялся. Отыскал в ящике в тумбе стола шестьдесят страниц на большой ржавой скрепке и отнес их на столик, и включил торшер. За окном, хоть и двух еще нет, но чернила, пока не яркие, всё ж уже над прочим возобладали. И чем ты занят, Иван Южанин? А ничем таким, чтоб себе пенять. А влеком потоком, и хрен вам с редькой! А я что, сказал Дар Событий с люстры, а я, Ванечка, нем, как рыба, я и звука не проронил, я молчу, как даже не Сфинкс, а как

собственно пирамида! Вот давай, Даруша, нам в том же духе.

— А давайте я тоже переоденусь, — и она поставила чашки с чаем и вернулась в сиреневых шароварах и в таком же свитере, потемнее, и в хайратнике поверх волн вороных, разделённых надвое, с новым светом в новом опять лице.

— Дни короткие?

— Дни короткие.

— Вкусный чай?

— А тебе?

— А вам?

— В самый раз. У тебя роскошные руки. И душа, и тело.

— Вы чего, Иван Александрович? Это всем так перед прочтением?

— Ты способствуешь, понимаешь? В этом нету уже сомнения.

— Ну, хотелось бы. Просто чай у вас обалденный.

— А ты, скромница, аромата ему добавила. Не убавила, а прибавила. А характер твой у тебя, ферштейн, всем на зависть он, самурайка.

— Ну признайтесь. Вы тихенько хряпнули?

— А идея! Не догадался.

— Так чего тогда вдруг меня вдруг нахваливать? От противного?

— Просто блажь, Дуся. You don't give a fuck.³

— Слава Богу!

— Улыбочку. Сейчас вылетит птичка.

— А большая?

³ (англ.) (груб.) Не обращай внимания.

— Так, Дусечка, какаду.

— Заведёте себе?

— Полагаю, всенепременно. Сколько ж можно мечтать вхолостую. Сам теперь холостой, так что в самый раз. Вот на днях, полагаю, он прилетит.

— А давно хотите?

— Лет с девяти.

— А с какого возраста себя помните?

— Да с пелёнок, с коляски. Всегда. Не подряд, но многими эпизодами. Да никто не верит. Не береди.

— Я поверю. А мне зачтётся?

— Не зачтётся. Верь бескорыстно.

— Так а что мы будем читать?

— Молодец, хорошая девочка. Не забыла, куда пришла.

Я взял в руки сей странный опус и потрогал ржавую скрепку.

— Это новое?

— Это старое. Десять лет ему уже с хвостиком. В Ялте летом он вдруг сложился. Уложился в одну неделю.

— Это быстро?

— Да, стих нашёл.

— Поэма?

— Проза, Дуся. Так говорится. Устанешь, скажешь. Тут читать часа полтора.

— Я готова.

— «Пасынки штиля». Посвящается очерку Лескова «Леди Макбет Мценского уезда».

— А зачем так?

— Ну, чтоб страшнее. И чтоб взятки с меня были гладки.

— А название означает, что им штиль, тем, о ком там, им штиль не в тему?

— Ловишь влёт. Так а слушать будешь? Ну, поехали.

И поехали. С первой фразы и до последней. С «Так убей ты его наконец, а то ветер дует» и до финиша «Ну, бывай, убивца. До встречи завтра». Там в начале на склоне вечером над обрывом над лодочной станцией на зелёной июньской травке два спортсмена, она и он, два динамовца, покинувши стадион, распивали винцо, дурью маясь, ну, и он её приговаривал, а она ему не давала; а внизу расходился шторм. У неё фамилия Радуга, обращаются к ней Томила, он Томилин, зовут Борисом. Вот такое вот совпадение. Вот такие Томила с Томилиным. Она старше, харизматична, он в десятом, она студентка, он ведомый, но сильно хочется; она спринтер, а он по прыжкам в длину; у неё застуженность чувств, как бывает после фрустрации; он с глупцом и сентиментален, всё торчком, надувается, как индюк; его руки под винчик рыщут, то под юбку ей, то под свитер, а она над ним потешается, допускает и отвергает. А болтают ребятки бойко, диалоги писать умеем; заливает Борька ей про геройства прошлым летом, знать, на каникулах, брат его, офицер спецназа, взял с собой в боевой поход, колошматили басмачей по горам за мостом за речкой; она врать позволяет вволю, всё равно ж понятно, что бредни, ерунда всё и детский сад, а сама талдычит про безотцовщину, про безденежье и про то, что всё опостылело, надо б, значит, жизни поддать. И витает над ними в сумерках окаянный бес — неприкаянность. Предлагает Борису Радуга прогуляться им в

шторм на лодке, только выйти за волнорез, чем не спятила, полоумная? и вернуться назад целёхонько, вот такая вам будоражина; и коль справятся и понравится, коль Томилин смекалку с отвагой явит Томиле, то, как в сказке, тогда готова под него вся сразу на берегу.

А в хибаре лодочной станции надрывает двухрядку хмельной Евлампыч, тот, что Лампыч для всех, кто знает; ну, а лодки все на цепи, кверху брюхом, носами к морю, в три ряда, как три частокола, завалившихся спать в песок; и качает ветер фонарь за его жестяную шляпу на боку скрипучей хибары, и терзает «Землянку» охрипший Лампыч и в печурке тесной огонь, и дойти до тебя непросто, а до смерти четыре шага; Борька долго к нему стучится, подливает в стакан, но Лампыч, он уснуть не желает, Лампыч, хочет петь он и плакать, Лампыч, хочет клясть он кого-то, проклятый Лампыч; Борька бегаёт к Радуге по скрипучим сходням вверх на склон за бутылкой и вниз по ним же, чтоб подлить гармонисту на сон грядущий; пока бегал, о пса споткнулся, тот признал и не укусил, порычал, скульнул и продолжил дрыхнуть, уважая в себе свой возраст; Фунтик сторож преклонных лет, мастер лаять, не пробуждаясь. Наконец одолел сон Лампыча, тот забылся на тюфяке, а Томилин с Радугой крадут лодку; он замок с цепи каменюкой сшиб, — та валялась тут под кодолу, — вдвоём лодку перевернули и к прибою поволокли, ну, а Фунтик вскинулся вдруг и в лай, вспомнил молодость, да не в шутку, а вот-вот цапнет; и тогда Томила Томилину первый раз говорит про это; фраза в опус зачином вставлена, а потом сюда предыстория, ну, и вот, добрались до её «так убей ты его, а

то шторм крепчает, а то ветер зябкий, убей давай!»; и Томилин, в раже ли, под парами, в дури ли, а с веслом, прыгун, на Фунтика кинулся и убил того, забил насмерть; напоследок Фунтик, дух испуская, так шумнул на луну с подвизгом, что и Лампыча пробудил, и несётся Лампыч к ним с матюками и свистит в свисток, как заправский мент; и его прибой, не сложнее, чем пса; и Томилин Лампыча хватить веслом, тот с катушек и не шевелится, ни ругается, ни свистит; вот никчёмный же человечиска; дышит хоть? да что ему будет! шторм зовёт, и ветер крепчает, в головах и вокруг, повсюду, и луны полный шар сквозь тучи всех магнитит, кто тут снуёт; сквозь прибой протолкались, вверх-вниз в азарте, удержали нос супротив наката, отвалили от берега; и Томилин, спиной к волнам, налегает на вёсла с гиканьем, а Томила с кормы хохочет, пробивает хохотом ветер, подставляет брызгам лицо; одолели выемку в волнорезе, а за ним уже балл повыше; ну, давай, возвращай целёхонько, коль силён басмачей громить на каникулах; и отдать Томилину должное, может вёслами он орудовать, умудрился лодку поворотить меж волнами, не опрокинувшись; но волна на корму не волна на нос, и Томилу попросту смыло, лодку хрястнуло о бетон, накренило, еще раз хрястнуло, и Томилину пенистый вал сволок, проволок да выволок захлёбистым кубарем; но его-то по эту сторону, где потише, а она где-то там, по ту; Борька выбрался из прибоя и лежит на песке рыдает, что теперь ему, мама, будет; жалко Радугу, не дала, а теперь и не даст уже, никому никогда не даст; как всё быстро и не воротись; Фунтик сдох, да и Лампыч тоже; надо драла давать

отседова и лепить со всех ног себе прочность алиби, а постылая, было, жизнь, снова кажется не постылой, а такой притягательной и уютной, только вот избеги на обрыв и отнекайся от кошмара; и пока он так убивался, да плевался песком и водой солёной, объявилась и Радуга, тут как тут, ну не дура же, чтоб тонуть в пять баллов, и одна печаль с Бориса долой, и другая за нею, вроде бы, тоже — оклемался Лампыч, не помер хрыч, не отбросил коньков и не врезал дуба; только снова давай он права качать и грозить разбойникам карой скорой, и расскажет Борькиным он родителям, да в свисток свистеть, да клешней махать; и тогда опять прозвучало это из Томилиных уст, от Радуги: да припей его наконец, сколько можно, с него ж, Борь, станется жизнь теперь перепортить всем; вёсла в шторме далече пляшут, но зато каменюка тут под рукой, что валялась тут под кодолу и уже разок пригодилась; и чего в самом деле? а ничего; шваркнул Лампыча наш прыгун каменюкой по бестолковке, тот опять кибрык, не шевелится, вот никчёмный же человечешко; ну, теперь давай, обещала же; так не справился ж, уговор был вернуть целёхонькой; уж как вышло, сама всё видела, да к тому ж и цела, погляди сама, да к тому ж вот зашибли Лампыча, разве ж это того не стоит? ну, пожалуй, согреться б только бы; благо в сумках шмотки спортивные, что посуше тех, что на теле; приоделись, переоделись; ну, давай уж, чего тянуть; ну, давай, герой, только быстро, а умеешь? иль не умеешь? или ты не умеешь медленно? только мимо сарказм Томилы, как горохом об Борькинский невтерпёж; и едва прыгун залез на бегунью, появился наряд ночной погранцов и сграбастал

наших отчаянных; тут и Лампыч опять воскрес, только вот говорить не может, всё мычит и руками машет, в драку лезет с кем-то невидимым; ну, а Фунтик ожить не смог, помер Фунтик, рыдает Лампыч; а Томилина с Радугой на заставу, выяснять, какие они шпионы; а наряд, если кто заметил, он неполный, всего их двое, рядовой с сержантом, ну и с овчаркой, а старлея с ними не видно, потому что застава тут в двух шагах, ещё ближе, чем смерть в «Землянке», и случается командиру, мы же знаем, что так бывает, подтвердить, что служба не только пахота, но еще и порою рахат-лукум, особливо, ежели пока молод и к прекрасному полу не охладел, так на кой ляд, скажи на милость, всякий раз по песку выхаживать, по границе суши и моря, со своим составом обученным, возглавлять постылые поиски тех в ночи, кого днём с огнём, сами справятся, не салаги же, ты ж урви от службы часок и сорви у резвого случая поцелуй молодой и свежий; так бывало, что рассуждали, и частенько им с рук сходило, лейтенанты на той заставе, ну, а девушки туда бегали, может, даже хотели замуж, а солдат командира не выдаст, а овчарка его не съест; вот, застучали нарушителей, и неспешно их конвоирует на заставу сержант с овчаркой, рядовой же метнулся куда велели, и к заставе вышли в полном составе, и старлей, разумеется, был сердит и отвесил Томилину подзатыльник со словами «а мамка вам разрешает?!», и в сердцах к такой вот риторике приложил обидный матюк; офицер дежурный на той заставе, капитан Рудницкий, нюхнувший пороху, а сюда направлен после ранения, хоть недавно, а сыт по горло похотливостью летних парочек, всем им негде и всем

не терпится, попадаютса то и дело, нарушают покой в ночи, вот и он был не рад застуканным, выясняй теперь, не шпионы ли, и конечно же, не шпионы, ну а ты выясняй, морочься, и с придурками, и с бумагами, установишь — не завербованы, и сдавай милиции на руки; вот такая рутина, могла б и нравиться, но не после же Гиндукуша; а еще капитан Рудницкий недоволен своим старлеем, снова этот неугомонный нарушал устав, изменял присяге, тискал где-то новую пассию, а не службу нес, как положено, будь на месте, не стал бы сюда тащить эту парочку, отчитал бы и отпустил, а при этом старлей ему нравится, просто пороху он не нюхал; вот его б к Рудницкому в его рейды южнее Кушки, враз бы вставилось разумение; устарела присказка офицерская: меньше взвода не дадут, дальше Кушки не пошлют; отчего же — теперь пожалуйста; а по ходу допроса задержанных выплывают, всплывают, детали с нюансами, словно щепки разбитой лодки, и Рудницкий, вникая нехотя, наконец понимает, что перед ним изложение песенки про маркизу, где в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо, но это в остальном; с перепугу Томилин верзёт не то, что ему бы надо бы в ситуации, а Томила его шугает, он шугается и верзёт; капитан его молча слушает, и от взгляда его с молчанием у Томилина недержание; вот верзётся им чушь про Фунтика, тот, по Борьке, дух испустил на глазах у влюбленной парочки по причине хронической старости, с коей громкий собачий лай вник в прямое противоречие, не совместным явился с жизнью; тут и лодка с цепи срывается, шторм сорвал, оборвал замок, и уносится лодка в море в мрачном свете луны сквозь тучи и болтается там по маслу на

поверхности у полотен, ну, а, может быть, их подделок, от Куинджи с Айвазьяном⁴, нет, пардон, с Айвазьяном, ну, вы же поняли, на волнах, и болтает вёслами в двух скрипучих ржавых уключинах, шторм грохочет, и скрип скрипит, и влюбленной парочке кажется, будто лодка сама гребёт, потому как вёсла в ней так и прыгают, и подстать Голландцу Летучему без людей уносится вдаль; и какая-то несусветь от Бориса в допросе звучит про Лампыча, тот двухрядкой терзал печурку, в тесноте там бился огонь, а Евлампыч башкой об вёсла, об уключины от кручины вечной нетрезвости по причине вечной тоски по утраченной безвозвратно фронтовой и геройской юности; вот и сам себя Лампыч вырубил, приложился лобешником об уключину с боку на бок и с ног долой, а сон сторожа, забытьё на посту его, порождает в ночи разбой; вот прихлынул накатом шторм, тут как тут, и упёр со станции лодку с вёслами, и едва не сволок шторм в свои объятия и Томилина с Радугой заодно в поцелуе сладком, те едва успели из лодки выскочить, от волны отбиться руково-ногово, октомановопедно,⁵ ладно вымокли все насквозь, но зато живёхоньки; искупнулись, не помирать же; а по Борькиной околесице вдруг тут Лампыч к жизни воспрял и, напутавши всё на свете, ну тревогу бить и в свисток свистеть, будто это Радуга с Борькой сдуру тырят лодку его дурацкую, а не шторм могучий, стихия грубая; и несётся к ним Лампыч на всех парах,

⁴ Архип Куинджи «Ночь на Днепре», Иван Айвазовский (Ованес Айвазян) «Девятый вал».

⁵ Окто... — (гр. *okto*, лат. *octo*) первая составная часть сложных слов, соответствующая по значению слову восемь; *manus* — (лат.) рука; *pedis* — (лат.) нога.

что вовек уже из него не выветрить, и пока бежал, налетел на пса и зашиб того насмерть, оборвав его лебединый лай, ну, и сам в спотык, на кодолу рухнул, прямо кумполом с хрустом в черепе, и зубами, значит, в песок; лишь затеялись Борька с Радугой его вы́ходить да повы́ходить, как нагрянул наряд с овчаркой, отчего едва Лампыч не околочился; а Томила тут гнёт своё, что пришла туда не за этим, а с отцом пришла повидаться, ейный папенька, значит, Лампыч, он давно их с мамулькой кинул, вот соскучилась, вот пришла; вы его, капитан, спросите, протрезвел же, не даст соврать; Лампыч тут он, в бинтах, просто Щорс из песни, голова вот, смотри, обвязана, кровь, смотри вот, на рукаве, за тем след по траве в песне стелится, а от Лампыча перегар; навёл резкость, признал Томилу, перестал мычать, вопит «доченька!», лобызаться к ней и слезу пускать, что копейка-жизнь и судьба-злодейка; а Томилина отчество Севастьянович, а ты Глебу, случаем, не брательник? а чего ж не брательник, когда брательник Борька Глебу, вот мать честна! Глеб Томилин в прошлом апреле, перевал Шарог, рядом с Аль-Арчи, подорвался в рейде на mine, и Рудницкий его тащил на себе уже «грузом двести», вот такие, братец, делишки, вот такая, Боренька, чехарда; а Томила, Лампычу отирая кровушку из-под красно-белых бинтов, то ли в шутку, то ли всерьёз, указывает Борьке, что, значит, врал он про геройства геройские на каникулах, потому что к прошлому лету брат его, понимай, в земле глубоко зарыт и уже не встанет; вот такая у Радуги вдруг дотошность, что Рудницкому челюсть вниз; ну, а Борьке терять уже нечего, он стоит на своём, не промах, что еще на год раньше

брал с собою Бориса Глеб в боевой отважный поход, и кого они там громили, то, ребята, большой секрет, потому что, козлу ж понятно, что по датам и по пиздатам, а дворец Амина еще не взят, и генсек с Устиновым и Громыкой в тот маразм еще не довяпались, и Бабрак им Кармаль еще впереди; и козлу, да, понятно, а прочим всем, как хотят; ну и что дежурному по заставе с таким поделать, как тут быть ему с этим братиком боевого друга погибшего и с такой вот братика пассией, дочкой лодочника Евлампыча, как ему, капитану Рудницкому, развязать такой вот моток? не сдавать же теперь их, раз так, в милицию, что он скажет Глебу потом при встрече, когда б встреча ни предстояла, а он знает, что предстоит, как в глаза там ему посмотрит? чем ему оправдаться там, что смекнуть не смекнул, что Борька вот бесится, потому что не знает, как соответствовать в мирной жизни геройствам брата, что ума не приложит, чем искупить, что брат пал, а Борька живой живёт; надо б этого огольца передать с рук на руки папе бы с мамой и сказать им, коль выйдет, слова про Глеба, что давно хотел, да всё не пришлось, про их дружбу день изо дня под пулями; только папа с мамой их, Глеба с Борькой, на курорте в родной Карелии, вот младшой и пустился в бурное плавание; а вот сдам, динамовцы, вас в милицию, по головке вас не погладят, комендантский час на всем побережье, он один для всех, а не сбоку бантик; ну, короче, отсюда брысь всем, по домам, спортсмены, и с глаз долой, и давай, Евлампыч, там не бузи, пса зашиб, схорони по-тихому, нету нянек тебе, ну, а выпил литр, так не пей второй, всегда завтра есть, чтоб с утра добавить, ну, а лодку смыло — нехорошо!

щепки-вёсла назавтра повытащи из прибоа, сложи до кучи, капитан Рудницкий придёт проверит, а не то решим, что шпиона в лодке за бутылку к туркам ты переправил; и не шутим, граница тут, а не хрен с бугром, и тебе шутить не советуем; на такой манер капитан Рудницкий разметал всех куда положено, размотал дурацкий клубок и навел порядок в своем хозяйстве, несгибаемый капитан, хлопнул спирта и размышляет, что за что же они боролись и куда же оно всё катится; и старлея ждет нагоняй; а Томилин с Радугой с Лампычем закопали Фунтика под обрывом и в надгробие каменюку, что валялась тут под кодолу, вот, уже пригодилась трижды, и пустили над ним слезу; а Томила Томилину мозг выносит про никчёмность Борьки и бытия, и про то, что Лампыч ей никакой не папа, спутал всё и чисто под мнением с пьяных глаз и от общего сотрясения, от Луны или просто «белку» словил; вот никчёмный же челове-чишка; а давай зашибём его, чтоб не мучился, всем же сделаем одолжение, разве ж это того не стоит? и лопатой тут же Томилин Лампыча по бинтам того хватать, тот кибрык на могилку Фунтика и опять не дышит, ну пустая ж его душонка; а Томилин с Радугой крадут лодку и выходят на вёслах в шторм, оголтелые в своей удали, потому как штиль у них в отчихах, а вот буря им мать родная, и мотает их штормом заново по ту сторону, по ту сторону, и восторг у обоих выше всех волн; в этот раз воротились, хоть хрястнулись, и втащили полную воды лодку всем спортсменством своим на песок подальше; и восторг у них теперь выше туч, подлетает к Луне он и пляшет около; а в хибаре двухрядка вздохнула жалобно, и забился в печурке

тесной огонь; и Евлампыч рад Томилину с Радугой ну не меньше, чем новой жизни, и опять лобызаться к Томиле «доченька!», и опять душисть Бориса в объятиях, а клешня у него, как у краба в манграх; придуши его, велит Радуга, сколько ж можно, ну в самом деле, нафига кому такой папенька, но на сей раз Борька в отказ, потому что Бог любит троицу, и четвертый раз убивать нельзя; долго спорят, не переспорила; просушили на печке шмотки, а Евлампыч от счастья плачет, потому что родная нашлась кровинушка, и рыдает в тоске Евлампыч, потому что Фунтик того; ну, бывай, Евлампыч, и не хворай; и восходят Томилин с Радугой на обрыв по скрипучим сходям и бредут вверх по склону, чтоб выйти в город сквозь любимый свой стадион; и уже светает, а на заставе капитан Рудницкий, разливши спиртик по двум стаканам, несгибаемый капитан, уверяет старлея, что, коль вот так оно, коль вот так всё и не иначе, коль в таких обалдуях нынче молодежь тут по миру шастает, да и сам старлей недалече, то тогда вот увидишь, не за горами, а держава накроется женским местом; так что надо старлею проситься в дело, а не то, а не то, а не то хана; а на склоне, на середине, тут теплее, и ветер стих, и просить не надо уже, уламывать, всё само собой по наитию, по подобию мига краткого, мига краткого, но завязтого, что им выпал из узкой трещины между днём и ночью, между мирами, когда бес окаянный сдаёт дела, а другой их еще не принял, и Томилин уже на Радуге, та под ним, сарказм улетучился, и соитие длится долго по причинам неустановленным, да и чёрт с ними всеми, с причинами, результат же неоспорим; и Томила шепчет Томилину, что он

лучше, чем с виду кажется, а тому еще сразу хочется, вот рассвет бы не наступал; будет, мальчик, еще, не нюнся, а теперь, мальчишечка, хватит, по домам и баиньки, мой герой; ну, бывай, убивца, до встречи завтра. Только завтра уже сегодня.

Дочитал, закурил и прикрыл глаза. Не хотел смотреть, как Багиру перемальывает катарсис, или что там с ней приключилось. Я и сам не читал давненько; по мне тоже прошлись ребятаки.

— Ну-у-у, — вздохнула. — Сказать, что слов нет, так себе не позволю. Уж извините. Это просто полный пиздец!

Я кивнул. И она кивнула. И вздохнула. И я вздохнул. Помолчали да повздыхали. Переводим дух и молчим. Дар Событий мне с люстры брякнул, что, пожалуй, он с ней согласен, это именно это самое, по-другому никак не скажешь.

— Ну, не знаю, — сказала Багира, бледно-розовая лицом. — Ну не знаю. Меня колотит. Хорошо, или как, не знаю. Чёрт-те что. Не могу понять. Вдруг всё враз обо всём на свете. Это ж просто кошмар какой-то! Вы о чём хотели тут рассказать?

Я вздохнул.

— О чем? Так о том, что сказано.

— Ну, не надо! Что сказано, я услышала. А о чём, скажите, этот рассказ?

— А сама не скажешь? Ну хоть попробуй. Хоть понравилось? Или нет?

— Ха! Так в этом и закавыка! Распирает! А от чего?! Ну, не знаю, что и подумать. Что за фокус такой с читателем вытворяете вы тут? Хоть плачь, хоть смейся!

— А попробуй одновременно. Может, что-нибудь прояснит.

— Смех и плач? Так уже ж. А не видно? У меня внутри маскарад!

— Маскарад? Это вместо прежнего слова?

Улыбнулась мельком и без улыбки.

— Ну вот именно. Полный пердимонкль!

Что б там опус мой с ней ни содеял, но словечек-живчиков из неё наружу он повыдал, не запылится.

— Хорошо, — сказала Багира, — хотите, скажу? Скажу. Пока слушала, натерпелась. Очень разное испытала.

— Так уже спасибо.

— Да погодите! Мерзость, ох, там у вас такая, скажу вам, хоть стой, хоть падай, и сшибает с ног, захлебнёшься вот. Но и в шторме с ними там накаталась, как заложница, от противного, и восторг до визга, до полного, с полным ужасом, полным хохота, полным грохота, полным похоти и отчаянья, так, что мало не показалось. И действительно не утонешь, потому что восторг выносит. И убить, чёрт возьми, тоже руки чешутся, потому что как же вот не убить! При такой луне в такую погоду...

— Тебе, Сарра, писать рецензии. Я б их в рамку на стенку вешал.

— Говорю ж, натерпелась. Ну в самом деле! А как вы дочитали и всё закончилось, так во мне внутри что-то просто лопнуло. И колотит. Смотрите же вот, колотит. Это что? Он такой катарсис?

— Это, Сарра, оргазм каскадный.

— А не думайте, что вы шутите. Это, кажется, так и есть.

— А никто не шутит. Какие шутки?

— Ну, раскройте свой фокус. Не хичьте девушку. Отчего такое воздействие? С боку на бок и с ног долой. Это ж надо же! Вот алхимия! Из говна наплавили золота. Что за подлое чародейство?

— Сам не знаю, Сарра. Ломаю голову.

— Ну, и что наломали за десять лет?

— Наломал? Наверное, архетипы.

— Это что?

— Это всё про всех.

— Поясните?

— Да вот попробую. Это, Дуся, значит, что все человечики хоть разочек хотят хоть краешком вот такого чего-нибудь.

— И убить?!

— А то!

— С остальным понятно. А с убить про себя, скажу, знать не хочется.

— Так на том же, Дуся, стоим. Вот умрём, а правды себе не скажем.

Помолчать бы тут нам. Так и вот, молчим. Помолчать бы долго, но с этим хуже.

— Так понравилось?

— Ну вас к лешему! Я хочу вас. Прощу вас. Я вас хочу. На колени стану, ну как угодно!

Вот не знал я вдруг, что ответить.

— Умоляю, не откажите, я такой не бываю, сам виноват, а потом болтать о «Пасынках штиля» я готова хоть до утра, но потом, потом, а сейчас давайте, помогите, мне просто дурно, захотите ж, не пожалеешь, а не то я просто с ума сойду...

Вас когда-нибудь так зазывали в это? Меня тоже нет. Сколько первых разов на пути разбросано!

— Успокойся, Дуся. Я тоже тебя хочу.

— Правда?

— Сама увидишь.

И она увидела. А я показал. И была вдруг родной до одури. И запрыгнула на меня, как монтер-электрик на давно знакомый столб телеграфный. И обнял её через подколенки, и прижал к себе, и носил под люстрой, сам пропитанный электричеством, сам охваченный напряжением выше всякого двести двадцать, и она издавала вопли ну никак не тише впередсмотрящего, что как раз вот полтыщи годков тому возопил вдруг с мачты «Санта-Марии» для отчаявшихся «Земля!», и меня между воплями целовала; и земля придвинулась быстро. Чем еще объяснить вдруг такой накал, как не чудом воздействия честной прозы на страдальцу-душу простых людей? Да ничем, и этого хватит. Пострадавшую от прочтения мы спасли на такой манер. Маскарад в ней угомонился, маски сняли и разошлись. Отпустил подколенки, поставил Багиру на ноги.

— Стоять можешь? Не упадешь?

— Вы хотите, чтоб я взяла?

Я кивнул, и она управилась, и потом с коленок спросила, когда закончилось:

— Вам понравилось?

Я кивнул, и мы обнялись, и стояли бы так до ночи; ай да пасынки, ай да штиль.

В дверь звонят два раза. Я знаю, кто это. Мы привычные два звонка превратили в секретный код, посторонний не дошурупают. А Багира вздрогнула, и в глазах тоска, к ней и боль туда, как перед разлукой.

— Одевайся, Дуся. Свои. Ничего не бойся. Свои до гроба.

Я открыл ему двери во всей красе, это ж Гарик, не одеваться ж. Мог он быть и не сам, а с очередной, но учитывать это не хватит жизни. Он был сам, и от этого нам смешно. Молча смотрим в глаза друг другу, ритуал наш такой при встрече, чтоб понять, что можно понять, без слов; время разное занимает. В этот раз хватило секунд пяти. Обнялись и пожали руки.

— Ты выходишь? Куда собрался?

— Да, вот только носки надеть. На прием к королеве. Жалуют в рыцари.

— Ну, так это и завтра можно.

— Разумеется. Подождёт.

Из просторнейшего кармана кашемирового пальто Гарик вынул Яшку Данилова, надышав его ароматом к тому времени всю прихожую, а пальто водрузил на вешалку и ботинок снимать не стал, сшиб с них веником снег и прошелся бархоткой; вот такой вот блеск и без нищеты. Всё, что было на нём, было новым. На секундочку, с марта не виделись. Пару раз лишь по телефону.

— Как тебе эти поцы с ГКЧП?

— Я ушёл из большой политики.

— А хорош! — сказал Гарик, в зеркало глядя, но имел в виду он меня, или нас обоих. — Снова в зал пошёл?

— Да что вы все, сговорились? Я матросом на «Балаклаве». Был до позавчера. А что?

— Грандиозен! Как твой Улисс.

— Ну, спасибо на добром слове.

Он подбросил Яшку и хлёстко поймал в ладонь.

— Инструктаж?

— А что, утратил нюх по Европам?

— Так проверим. Веди знакомь.

И мы входим в библиотеку, и Багира в сиреневом и в хайратнике поднялась из кресла, подстать пантере, и шагнула навстречу, как герцогиня. Гарик ахнул. Конечно, молча. Так что в городе и в Евразии, и на всей декабрьской планете его «ах!» расслышал один лишь я.

— Это Гарик, Багира. Георгий Яхта. В двух словах, еще один я. Только выглядит вот иначе. Ну, и, значит, наоборот. Разгляди, запомни. И можешь путать. Гарик, это Багира Анзоровна.

— Ну вот это я понимаю!

Тай приветствовал нашу дусю после аха достойный муж сей.

— Фаллалеева. Цирковая. Порт приписки наш Благовещенск. А вообще-то из Барнаула.

— Ну вот это я понимаю! — снова ляпнул мой бедный Гарик.

— Нападайте и защищайтесь. Ниже пояса нет, нельзя. Выполняйте мои команды. Жмите руки и по углам. То бишь, в кресла плюхен зи жоп.

Целовал Гарик руку Багире так, что не надо вам, плакать хочется.

А Багира сказала:

— Багира имя.

А достойный муж ей уже в ответ:

— Ну зачем же, Багирочка? Это лишне. Пояснять само очевидное. А вот Яхта моя фамилия. Попрошу с братками не путать.

А Багира ему:

— Ну, а вы зачем? Ни секунды не сомневалась.

— Ну, тогда вы первая, кто усвоил влёт.

— Да и вы после Вани тоже второй, кто в Багире не усомнился. Правда, он истребовал паспорт.

— Ты чего, Иван? Ну, тогда я первый.

— Брэк! По креслам. Плюхен зи жоп!

Я задёрнул шторы, и мы уселись. И в квадратной бутылке тёмный янтарь между нами блестит на столике.

— Ну, привет, друзья! — Гарик с холода уши трёт. — Так на чём мы остановились? А тебе, полковник, не холодно?

— Пока нет. А тебе не жарко?

— Жарко. Позвольте пиджак сниму?

Ну, вопрос, разумеется не ко мне. А пиджак на нём, что куда там. Перевалим экватор, начнет дарить. И пиджак повешен ко мне на стул у стола под зелёной лампой, а Багира рубашку Гарика разглядела и воскликнула от души:

— Боже! Как же вы все похожи!

— Кто ещё? — оживился Гарик, хоть и прежде не вялым был. — Кто ещё, кроме нас с Ванюхой? Волноваться нам? Или обойдётся?

— Волноваться, — заверил я. — Вы и вправду с Барановым в переключке.

— Я и он? А ты не причём? Это что? Тот самый Баранов?

— Представляешь, полковник? Был тут на днях. Сам сусам. А ещё и с тиграми.

— Так и он живой?

— Ещё как живой! Не мертвее нашего.

— Погодите. Давайте выпьем. А то вижу тут басенка про маркизу. Жучка сдохла и всё сгорело. Всё сгорело? А ну давай.

— Нет, не всё. А бывает всё?

— А Лидок, прикажешь понять, тю-тю? В Италию?

— Нет, с Барановым. В жены взял.

Он присвистнул.

— Вот это номер! Пролетел Америго, как над Миланом? И куда подались?

— В Барнаул, конечно.

Он кивнул.

— Да-а-а, вопрос дурацкий... А там что в Барнауле?

— Там Барнаул.

Он кивнул и кивнул, и кивнул еще раз.

— Санька здесь? Ну, понятно... Давайте выпьем.

Мы на кухне. Сменили стул, посадили под форточку Гарика, благо он одет, да к тому ж в ботинках, и свою дислокацию переставили: я на собственном стуле спиной к плите, подстелил себе полотенце, а Багира сбоку, где Лика с утра, к коридору спиной и лицом к окну. На столе Барановские щедроты, вкусны запахом да пригожи видом. Ну а жор, он как раз тут и подоспел.

— Как, полковник? Потянешь, может быть, соточку?

Верный, старый мой закадычный осторожно интересуется.

— И двухсоточку, и трехсоточку. Потяну, Георгий Георгич, так с тобой, что представить себе не можешь.

Он и рад, конечно, и всё ж тревожится.

— А потом гудим подряд до Крещения?

— Ну, а, может, и не подряд. Ты надолго?

— Я до Крещения. Так что этот загул беру на себя.

— Вот, благая весть. А знаешь, в чем хохма?

— Пока не знаю.

— А сдаётся, что эта вот девушка от похмелья меня избавила.

— Ни фиги себе!

— Да, способствует.

— Это чем же?

— Да просто так. Всем, что под руку.

— Только под руку?

— Подо всё.

— Любо-дорого! Я, пардон, я, Багирочка, без похабства. Ну действительно интересно. Вы шаманка? А вы похожи. Вы давно здесь?

— Четвёртый день.

— Ну, ребята, так флаг вам в руки!

— Мне уже сегодня желали.

— Да? И кто?

— Анжелика. Знаете?

— Анжелика?! Иван! Полковник! Нет, ну нафиг!

Сначала выпить.

— Можно мне пока не участвовать?

— Это запросто.

— Не вопрос.

— За тебя, Багира!

— За вас, Багирочка! Со свиданьем, старичок!

— Welcome back!

И мы жажнули по Данилову. И пустились в сладчайший трёп под вкуснейшую закуску с присвистом и весьма воспитанным чавканьем. Слава всем крепким дружбам на белом свете, тут и Ярика не забыть, тут и Ярику слава Славе! А Багира перебивала; первый раз о том, что вот догадалась; а про что? про Яшку Данилова, это он у вас вот «Jack Daniels»; так у нас все такие, Багирочка; а скажи, вот Ванька Ходун, он кто? или можно ещё Бигунэц Иванко; молодец, конечно

же, «Johnnie Walker»; про Рогатых, дуся, вряд ли додучь, это просто «Glenfiddich» всего-то навсего, просто с гэльского это Олений Дол, а про Швейную Фабрику так подално, это просто наш «Ballantine's», от него мы с полковником, что ни делай, а всегда непременно вдвоём с катушек; и по ходу Гарик мне через это всё рапортует фрагментами за отчётный срок, через пень-колоду, зато со смаком; про Шанхай со Стамбулом и про Москву, меж которыми теперь шастает; попытался и про Одессу, но за это был поднят на смех, и поднялся, и тост задвинул, и, конечно же, за Багирочку, за такую, значит, красавицу, каких он ещё не встречал во век; он, пока красноречил, я встал прошёлся, а потом стоял, чтобы стоя выпить эту здравицу за красавицу, и чем дольше Гаричек токовал, тем сильнее снимался пафос всей моею неотразимостью, напоказ да и просто так, и Багира прыскала в кулачок.

— Ну вас в баню! — сказал нам Гарик. — Я вам чувств накал. Настоявшийся. А у вас, друзья, балаган.

За Багиру мы стоя выпили.

— Так и будешь стоять атлантом?

— А Давидом, полковник, можно?

Я вернулся на стул и почувствовал, что прихлынула эйфория, настоящая, без изъяна, здесь, сейчас ничего не надо, кроме этого, что тут есть.

— А давайте и я скажу. Насыпай, полковник. Не жадничай.

Мы с тринадцати насыпали, наливай мы не говорили. И поехал я откровенничать про Багиру и про Баранова, про наезд сюда цирка с тиграми и про блеск балагана в нём; и поведал другу я закадычному в двух словах про то, что тут приключилось вот на

днях вот, вот только что; как в субботу с Санькой мы двадцать первого пришагали в наш славный цирк и прочли на афише про укротителя, и там значилось, что баранов...

— Так и было там, блин, написано. УКРОТИТЕЛЬ БАРАНОВ. Большими буквами.

Хохоталось Гарикю весело. А Багира ему кивала. Ну, а я не ждал, я продолжил.

...вот такое во всю афишу; и всё первое отделение предвкушали мы с Санькой к нам настоящих архаров с турами, настоящих горных козлов, тьфу! — баранов высокогорных, а увидели вместо этого на манеже мы укротителя в окруженьи амурских тигров; где ж бараны? баранов нету, зато есть Ярослав Баранов, он заслуженный, жив-живёхонек, а не сгинул, как знал я, в чужих горах...

— Это блеск! — сказал Гарик. — Юг, поздравляю! Ты там как? Подпрыгнул до купола?

— Ну. Едва башкой не прошиб.

— Сколько он горевал, Багирочка, мне в жилетку! Не сосчитаешь. Вечный третий наш тост за наших, чтоб не скучно им на том свете. Да, старик? Не иначе мы в сто стаканов, а может, в двести, может, в триста, с тобой на пару твоего Баранова воскресили. Как считаешь? Могло бы быть.

— Быть могло бы всё, что быть может, — ляпнул тут, ну да что ж теперь.

— Ой, — сказала Багира, — а вам не страшно? Говорить такое. Вы не боитесь?

— А чего?

— Ну, спугнуть удачу. Накликать бедствие.

— Ну, Багирочка, что за глупости? Мы ж со всей дорогой душой! Да, полковник? Мы ж не кошунствуем?

— Да ни в жисть! Не враги ж себе.
— Так давай за живого же ж! За Баранова!
— Ну давай. Хотел за другое, но подождёт. Тебе капнуть, Дуся? За благодетеля.
— Мне коньяк. Полнапёрстка. За Славу, что не погиб.

— За Баранова!

— За Баранова!

Чуть не ляпнул, что за Данилова. А он шёл мне, как никогда. И продолжил Гарику в двух словах, закусив и опять отказав одеться.

...и провёл он нас по манежу прямо, когда тигры ретировались, прямиком к себе в закулисы...

— Вот у Саньки денёк был! Да?

— Ха! Светился, как новый чайник.

...мы с Барановым обнялись, чуть друг друга не задушили, и пустились рассказывать всё про всё, прикатили сюда и — по новой силе, десять лет не видались, почти одиннадцать, так и он знал тоже, ты понял, что я погиб...

— Поминал тебя?

— А то думаешь!

— Два воскресших на фоне тигров! А что? Смотрится. Продолжай.

...продолжай тут, не продолжай, а ввалились сюда к нам всем балаганом, балаган у них, понимай, там с понтом дель арте⁶, с понтом типа модерн-театр, с понтом цирк нам новой эпохи, Серж Акимбо бы,

⁶ Комедия дель арте (итал. *commedia dell'arte*), или комедия масок — вид итальянского народного (площадного) театра, спектакли которого создавались методом импровизации, на основе сценария, содержащего краткую сюжетную схему представления, с участием актёров, одетых в маски.

Гарик, им аплодировал, хлёсткий, знаешь, роскошный г л ю к! — хороши, натасканы, как спецназовцы, на манеже просто фурур, а сюда нагрянули — едва втиснулись, ну, и Лидочке, стало быть, сабантуй; ну, а мы с боевым товарищем эскапировались на кухню, вот сюда, и взахлёб трепаться...

Гарик шумно вздохнул, боевой пловец; объём лёгких шесть тысяч кубиков.

— Жаль, полковник, меня тут не было... Да? Нечасто такое выпадет. Как там было? Восторг лавиной?

— Всё лавиной! Там и восторг.

— И? — Гарик глянул мне в душу грустно, нехвастливый знаток потерь. — А к восторгу и всё на свете?

— Ну, не всё. Только часть вещей.

— Ха! Конечно. Не дай забыть.

Он налил, в том смысле, что он насыпал; и Багире коньяк, её полнапёрстка.

— Он у нас, Багирочка, наш Иван, он ещё с младшей группы детского садика, он у нас адепт Лао-цзы. Не успел тебе ещё втюхать муру про Дао?

— Вроде нет, — сказала Багира. — По Дзену ходим. Да, Иван Александрович? А по Дао это мой папа весело. В сапогах и берцах. И ничего.

Гарик гмыкнул, Гарик отпрял. Я ж продолжил, хоть не просили.

...славно нам болталось с Барановым, словно в поезде, словно в юности, словно в детстве славно болталось, ничего сказать не успели, но зато уж наговорились; опуская разные частности, проболтали без умолку за полночь, аж до полудня проболтали, а потом Баранов забрал себе, значит, Лидку,

ну, а Лидка, стало быть, себе Саньку, ну и убили в Барнаул...

— Хорошо, брат, меня тут с тобою не было. А то я б ему, пожалуй что, врезал. Ну куда ж, скажи! При всём уважении. Из гостей? Чужую жену? Не катит!

— Помнишь фильм Куросавы? — спросил я Гарика.

И повесил паузу всем назло. Подождали. Скажу название? Нет, конечно. Ещё чего!

Гарик понял. Багира лишь улыбнулась.

— Нет, не помню, — сказал он. — И что с того?

Да, водилось за нами с детства, друг за друга загрызть могли. Под Данилова наши новости враз ударили ему в голову, позабыты Стамбул с Шанхаями, а подайте сюда обидчика! а то стол вам вот проломлю.

— Ну а вы ж, блин, куда смотрели? — говорит он в сердцах Багире. — Или ваша мечта сбылась?

Вот, добавил мой закадычный моей гостье в лицо румянца. Красота! Спектакль начинается. Роль у Гарика не сложна: гнев, он праведный, он за друга, за вода не разлей, не разлей вода, да на пару с Яшкой Даниловым, завсегда готовым добавиться, а не хватит, ещё добавим, и немного рисовки для ново-прибывшей, чтоб не знать в ней ни в чём наперёд отказа, потому что, что можно Гарику, то быку, понятно, нельзя. Бык — Баранов, хорош спектакль каламбурами да подтекстами.

— Я б его, твоего укротителя, заломал бы, брат, за такое!

— Расёмон кино называется. Черно-белое. Обалденное.

— И куда ты гнёшь, мой несчастный друг? Он сейчас нам с вами, Багирочка, подведёт, смотрите, теорию под корыто своё разбитое. Вы читали, Багира, Пушкина? А давайте нивроку выпьем! А то стул вот переломаяю. Ни фига себе, взял воскрес! Да не надо нам. Был бы в павших.

— Погоди, старик. Дай сказать. Вот увидишь, тебе понравится.

— Говори скорей. Пересохло в горле. Вам не скучно с нами, Багирочка?

— В том кинe, — сказал я им, чтобы знали, — для начала в чаще японку трахнули. Разумеется, молодую. Разумеется, взяли силой. Чаща ж, как же там по-другому. Ну, а мужа её пришили. Но не этой самой катаной, их двуручным мечом японским, а кинжалом, но дорогим. Самураем был по одежке, но, видать, не его был день. Ну, а третьего персонажа обнаруженной катавасии, — он разбойник, тать, обитатель чащи, обвиняемый в двух злодействах, и в убийстве, и как насильник, — так того мечом т а к покоцали, что едва сам не склеил ласты, а, вернее, свои сандалики, ну, хотите, не врезал дуба, а хотите, так как хотите. Оклемался, как дикий зверь. Только в клетке и под судом. Вот такая вам диспозиция. Как она вам, друзья, такая?

— Ну давай, не тяни вола.

А меня дежавю колотит. Прежде мне столь ясно не виделось, как похожи они, Гарик с Яриком, оба разные, оба два. А сейчас, что ни скажет Гарик, то дежавю. Тут опять Баранов со мной на кухне, тут и там, пару дней назад. Хорошо ещё, что Багира пока с Лидкой не сопрягается. Пока нет. Пока вот бог миловал. Тут, конечно, себе вопрос. Ну, а ты с собой

сопрягаешься? Там и тут, тот и этот. Ответа нет. Вроде, связь сам с собой не рвал. Онемел маленько, так, по нутру. Ну и что-то, конечно, хрустнуло, когда Санька сказал, что он хочет с Лидкой. Что ж поделывать? Пускай срастается. То, что хрустнуло. Время лечит. Сколько раз уже убедился? Не считай. Считают по осени. Вот опять пора подоспела убедиться, что время доктор. Да такой, что лучше — ищи, не сыщешь. Не раскваситься б. Это всё.

— В роли татя, друзья, Мифунэ. Ну, а кто ещё у Акиры? У Акиры лучшего нету. Он вам Красная Борода, Пьяный ангел, Телохранитель, Пёс бездомный и Идиот, Самурай он вам в Пути воина, даже Макбет он на Троне в крови. Ну, а тут он разбойник нам в Расёмоне, и зовут его Тадзомару. Что, скажу вам, как на духу, абсолютно для нас не важно.

Гарик шумно вздохнул и выпил.

— Без обид, друзья. За тех, кто не с нами. Всё равно ж, не чокаясь. Тадзомару?

Я кивнул.

— Верно, Гарик. Расклад такой. Век одиннадцатый, льёт дождь. От грозы укрылись в развалинах храма дровосек и странствующий монах. К ним прибился крестьянин, что мимо шёл. И они, дровосек с монахом, рассказали ему историю. Оба держат путь из суда, где пришлось выступать в свидетелях по делу об убийстве самурая и изнасиловании его жены. Напустились они на крестьянина с этим делом непривлекательным, потому что им не даёт покоя то, что там на суде слышали. Им обоим смутило души, что рассказы самих участников столь разнятся между собой. Просто нафиг не совпадают.

— Всех участников, — сказал Гарик, — всего-то два? Хулиган и дамочка. Третий жмур. Или я не понял?

— Всё ты понял.

— Тогда всё правильно. Каждый врёт, что хочет. Чего смущаться? Одно слово против другого.

— Оно так, — сказал я и выпил. Тоже молча. — Но есть нюансы. Куросава с Акутагавой из всего, знай, выход отыщут.

— Ну и кто это? Тот второй.

— Да писатель, Гарик. Читать не начал? Вот пополнишь образование. По его двум рассказам кино. Вот слушай.

Гарик скорчил физиономию, показал Багире, что им тут все помыкают, кому не лень, и опять вздохнул на шесть тысяч кубиков.

— Только можешь без тягомотины? Что-то в дебри мы позалазили. А хотелось поговорить.

— Вот сейчас мы из них и вылезем. Постараюсь сухие факты.

— Постарайся, Иван. Да, Багирочка? Пусть старается?

Я и впрямь пожеланиям этим внял. Изложил гениальный фильм покороче. А там вот что на самом деле. Тадзомару не отрицает, как не дивно, в суде вины. Вот вам так. Признаёт злодей, не юля, самурая он облапошил, Такэхиро, значит, Канадзава, и наплёл ему про могилу, что он якобы, Тадзомару, раскопал в лесу, а в могиле, там оружие дорогое. Предлагает туда отправиться, осмотреть и клад разделить вдвоём. Самурай оставляет лошадь и жену со скарбом. И прутся в чащу. Тадзомару напал там на Такэхиро, одолел и к дереву привязал. Возвращается

за женой, имя ей Масако, тащит в чашу к несчастному Такэхиро, на глазах у того насилует, аки зверь, и похоть свою избыв, собирается топтать дальше, но Масако бросается ему в ноги, умоляет не покидать, вызвать мужа на поединок, чтоб спасти её от позора; обещает уйти с Тадзомару, если он убьёт Такэхиро. Как откажешь несчастной женщине, хороша ж к тому же донельзя. Тадзомару губу раскатал и решился на поединок. Самурай бьётся доблестно, самурай же, но злодей проявил проворство и поверг Такэхиро, пал самурай; Канадзава мёртв. А пока сражались не на живот, та Масако улепетнула. Такова вот версия Тадзомару.

Но в суде тут Масако, её черёд излагать только правду-матку. Поначалу её слова совпадают с тем, что злодей поведал, аж пока он ей не насытился, истерзав на глазах у мужа, а потом он встал и ушёл, ни спасибо, ни до свиданья, вот как было, уж вы поверьте, а не то, как он говорит. Как в себя пришла, развязала мужа, ему в ноги бух! простить умоляла. Но глядит муж с презрением на Масако, с отвращением и брезгливостью. Поняла, ей больше не жить. Ей такого позора не вынести. Умоляет мужа убить её. Вот кинжал мертвеца, возьми, Такэхиро, я готова, смелее, супруг любимый! Но холодный взгляд Канадзава и его безмолвие скорбное потрясают душу Масако — так, что падает она в обморок, и в руке у неё кинжал. А когда очнулась, то видит, что муж готов, хладный труп, мертвей не бывает, а в груди у него кинжал, у любимого Такэхиро. Ухватилась, из трупа вынула и в себя воткнуть попыталась, только силы её покинули, и сознание вместе с ними; в этот раз очнулась нескоро. Где кинжал, куда подевался,

знать не знает, уж вы поверьте. Вот такая версия у Масако.

Её выслушав, в суд судья призывает женщину, она медиум, а не просто так погундеть пришла, и велит ей судья срочно к ним призвать дух убитого Канадзава. Тот явился не запылится, а кого послушал скорее он, ту колдунью или судью, то уже пускай зритель думает. И поведал дух, как всё было. И его показания тоже слово в слово совпали с тем, что сказали его жена и злодей Тадзомару прежде, аж до самой пикантной сцены, пока похоть не изошла, ну, а дальше совсем другое, всё не так, как те говорили. Дальше вот что поведал дух. Тадзомару, проделав то, что хотел, с женой самурая, ей насытившись до конца, впал в кипучую эйфорию и затеялся убеждать свою жертву, чтоб мужа бросила и пошла б за злодея замуж, пускай станет е г о женой. И поведал дух, что Масако согласилась, но при условии, что злодей супруга убьёт. Охренев от такой коллизии, враз утративши эйфорию, поражённый коварством дамочки, Тадзомару всё передумал. Обращается к самураю, предлагает ему на выбор, или жизни тут же лишить её, подколодную тварь такую, или ж просто взять да простить, невзирая на то, что видел, невзирая на то, что слышал. Но пока самурай решает, но пока самурай колеблется, та Масако улепетнула. Тадзомару за нею вслед, чтоб догнать и вернуть супругу, и представить на суд его, но однако ж не догоняет; от погони сокрыла беглянку чаща. Тадзомару вернулся, верёвки срезал и ушёл. Делать нечего. Канадзава же из могилы берёт дорогой кинжал и себя в одиночестве убивает. А куда потом тот кинжал поделся, дух не знает, окститесь, не до

того. Он лишь может предположить. Кто-то вынул, вздыхает дух. Тяжело вздыхает. И был таков. Вот такая версия духа.

А в развалинах храма — гроза на убыль — тут крестьянин под впечатлением от такой истории, что он выслушал, от монаха и дровосека, из двух уст про три несусветных версии. Дровосек же в суде рассказал лишь то, что наткнулся в лесу на труп самурая и немедленно убежал, побежал искать представителя власти, чтоб поставить власти в известность, что в лесу лежит бездыханный труп; так и сделал, встретив чиновника. Это он рассказал в начале, а теперь, когда крестьянин их выслушал, дровосека с монахом, то дровосек признаётся, что он солгал, далеко не всё рассказал в суде, а на самом деле он знает больше, да не просто больше, а сильно больше, он фактически видел всё, от завязки и до финала; видел он, как злодей насилует на глазах самурая его жену, тот же к дереву был привязан и не мог ничего поделать; видел как потом Тадзомару, сделав всё, что хотел, с Масако, предложил ей уйти с ним вместе, и Масако, она согласна, только мужа пускай убьёт. Самурай с Тадзомару оба в отказе; самурай поражён коварством Масако, за такую жену не желает драться, за неё в поединок вступать не станет, а разбойник тоже против убийства, в коем смысла ему не видно; разрезает он путы на Канадзава, предлагает тому уйти. Тут Масако идёт ва-банк, обвиняет их в малодушии, говорит, что трусливы оба, потому не желают драться, вот одна вам на всё причина — у них просто кишка тонка, а Масако тут ни при чём, ни с коварством, ни без коварства. И она достигает цели; те бросаются друг

на друга, но дерутся совсем не так, как в рассказе у Тадзомару, оба трусят, дрожат, вопят, оба в страхе и неумелы; омерзительная картина. Чистый случай помог разбойнику, самурай повержен и жалок, умоляет униженно о пощаде. Тадзомару, не долго думая, протыкает его кинжалом. Самурай испускает дух. А Масако в ужасе убегает. Тадзомару, присвоив меч Такэхиро, удаляется в чашу о двух мечах. Вот такая четвёртая, значит, версия. Больше всех на правду похожа. Непонятно в ней лишь одно, как и в прочих — куда же исчез кинжал. В самом деле, куда же он подевался?

— Это всё? — спросил Гарик.

— Ещё два слова.

— Не замёрз?

— А тебе не жарко?

— Жарко. Можно сниму рубашку?

Не ко мне вопрос. Рассказ дровосека прерван громким плачем младенца. И все трое идут на плач. У руин ворот Расёмона обнаруживают корзину, в ней младенец, и он орёт. И монах берёт его на руки, а крестьянин забрал приданое, кимоно с амулетом, себе забрал, а в ответ дровосеку, — тот упрекает, что украл у беспомощного младенца, — отвечает просто, что сам тот вор, что крестьянин, он не дурак, догадался, пока их слушал, почему дровосек в суде отмолчался, потому что украл дорогой кинжал, что был воткнут в бедного самурая, и боялся, что это выяснят; так что пусть не больно судит других, когда сам такой. И крестьянин с присвоенным удаляется, рассуждая вслух о мотивах, что главенствуют над поступками смертных нас горемык под солнцем и, конечно же, под луной. Дровосек умоляет монаха,

чтоб отдал тот ему ребёнка, у него с женой уже дома шестеро бегают, он и этого с ними вырастет, у младенца будет семья. И монах, протянув младенца, воздаёт хвалу дровосеку: тот в монахе вот только что воскресил в человека веру; та давно уже пошатнулась, ослабела, чуть не угасла, да вот только что вновь воспряла. Дровосеку низкий поклон. Гроза стихла, и светит солнце. Конец фильма. Свет в зале. На выход, граждане.

Я остался доволен паузой, что повисла, когда умолк. Не забыть бы вот под Данилова, для чего я это нагородил, растревожил гостям умы неокрепшие. Улыбнись-ка давай, Иван. Хоть и нету тут скрытой камеры.

— Да, давненько, Иван, не виделись, — для начала заметил Гарик.

И Багира отозвалась.

— Ну, а мне и сказать-то нечего. Сперва Пасынки. Теперь вот.

Гарик в майке теперь, при бицепсах, от которых, конечно, вам дух захватит, а рубашка висит на спинке того стула, что на просушку, не на свой же вешать, помнётся же, этот Гарик аж подскочил.

— Ты что, Малый, опять за Пасынков?! Вот же Ванька неугомонный! Да зачем?! Когда столько набацал опусов, от которых любая даст! Да, Багирочка? Вы читали? Где красиво всё. И за душу хватить! Безо всяких лодочных станций, где вас лупят всю ночь по кумполу... Не-е-е-т, негоже так привечать. Так разгонишь всех. С кем останешься?.. Это он от вас, Южанин, Багирочка, избавляется на такой манер. От такой вот, как вы, красавицы. Чересчур ему вы красавица. А ему щербатую подавай.

Он же вежливый. Вот и маятся. Накатал себе, значит, Пасынков, чтоб не маяться. Чтоб по морде нам той Радмилой! И на выход, дамы и господа... Вам ко мне, Багирочка, бы пожаловать. Я не вежливый. И без Пасынков. И для вас с дорогой душой. Вы мне нравитесь без изъяна. Красота ваша мне не в тягость. Красота ваша в самый раз.

Оговорка его по Фрейду. Там Томила Радуга в «Пасынках». А Радмила тётка Баранова. Но про это Гарик ни сном, ни духом. Тем не менее, Зигмунд к нему пожаловал, не спросясь, сквозь дыру в ионосфере, в ноосфере калитку сквозь, от Вернадского.⁷ Любо-дорого! Но молчим. Города и дальше. С тем, что я молчу, он бы справился. Навидался меня он всякого. А вот что безмолвствует девушка на его такие сентенции, ни тебе ни бэ, ни не бэ, это Гарику, бедолаге, хоть не Йорик, но явно в невидаль; Гарик Яхта под парусами на такое не понимает. Ну, Багира, тебе очко. И приходится Гарику в бейдевинд.⁸ В сорок пять с половиной градусов.

⁷ Влади́мир Ива́нович Верна́дский — русский и советский учёный естествоиспытатель, мыслитель и общественный деятель конца XIX и первой половины XX века. Академик Санкт-Петербургской академии наук, Российской академии наук, Академии наук СССР, один из основателей и первый президент Украинской академии наук. Один из представителей русского космизма. Из философского наследия Вернадского наибольшую известность получило учение о ноосфере — сфере разума, сфере взаимодействия общества и природы, в границах которой разумная человеческая деятельность становится определяющим фактором развития.

⁸ Бейдевинд — курс, при котором угол между направлением ветра и направлением движения судна составляет менее 90° (меньше 8 румбов). Выделяют бейдевинд полный и крутой.

— А чего молчим? Подлец Куросава! Что, не к месту вам балагур? Не, ребята, вы не подумайте. Ну, Багирочка, шутку ж поняли? Я, конечно ж, имел ничего в виду.

И Багира Гарику улыбнулась. Без улыбки, конечно. Пусть привыкает. Гарик даже сказал «спасибо».

— Всё как раз же наоборот! Раз Ванюха, Багирочка, с места в карьер порешил по вам жажнуть Пасынков, значит, хочет на вас жениться. Вот как пить дать! Он всех так своих проверяет.

— Всех своих?

— Ну да. Корешей и жён.

— Это правда?

— Кого ты слушаешь?

— Надо выпить, — сказал нам Гарик. — И причём, друзья, обязательно. У тебя, полковник, был тост какой-то. Так чего зажил? А ну гони.

Он налил. У Багиры было, полнапёрстка её «Камю».

— Я хотел за Ярика и за Лидку. Я хотел, полковник, тебе втолковать, что тут было совсем не так, как тебе сдаётся. Тебя с марта не было. А у нас декабрь. Ты согласен? Да на исходе. С этим ясно? Ферштейн? А за девять месяцев, дядя, знаешь, сколько можно всего успеть?

— Лидка что?! — влепил пятернёй себе Гарик по лбу. — Лидок родила?!

— Это нервы, Гарик. К невропатологу!

— Не морочь! Скажи, она родила?

Границу между ними разные источники проводят по-разному (в диапазоне от 45° градусов до 67,5°).

— Нет, конечно. С чего вдруг! Да от кого?!

— От кого?! От Романо из Милана, да так, навскидку. От тебя, Иван, вот, к примеру. А что, ещё есть?

— Ну спасибо на добром слове. Вольно, Гарик! Нет, не рожала. Ситуация разродилась.

— Ситуация?!

— Ситуация. Всем, что в ней накопилось, пока ты странствовал, тем она нам и разродилась. Поутру, после самой долгой ночи в году. Да, Багира? Примерно так?

И Багира попросту фыркнула, не найдя для нас нужных слов; растревоженная словами.

— Вот тебе тут и Расёмон, — сказал я. — Пригодился. Как раз нам в жилу. С этим там у них разномнением в одну кучу, на всякий лад. Панымэ теперь?

— Ни фига себе! Пригодился! Битый час терзал нас япошками для того лишь, чтоб мне сказать, что Баранов тут не напакостил? И что, Лидка не Курва Юханссон? Это всё?!

— Ну, типа того.

— Вот любитель живописать! Мне б хватило двух слов твоих. Ну, а нет, так ещё бы парочки. Да, Багирочка? Не тупые ж. Или я сегодня как раз балбес? Красотой твоей ошарашен. Мы на ты? Годится? А то ж фигня.

— Я пока вас буду на «вы». А потом увидим, Георгий Яхта.

Ответ Гарику не пришёлся. Ну, а мне, я спектакль смотрел и не видел нужды пускать с места реплики. Интерес мой, конечно, особый: как управится дуся в предложенных обстоятельствах.

— Ну как знаешь, Багирочка, — сказал Гарик. — Но меня, признаться, коробит.

— Ладно, Гарик, давай на ты. Раз для вас это столь существенно.

— Для кого для вас?

— Для тебя.

У меня уже дважды, трижды, промелькнуло прозрачное впечатление, что Багира Гарику по мордасам. Ну, не факт. Но к тому идёт.

— Ну так что? — сказал Гарик. — На брудершафт?

— Ну зачем же? Мы же не немцы.

Гарик громко захохотал. И остался всем недоволен.

— А вообще-то *мой* тост, — сказал я.

— Так давай! Чего же мы телимся?

— За Баранова! И за Лидочку! Была Златкой, стала Лидок. Но сейчас совсем не об этом. Пусть у Лидки составитсЯ с Яриком. Пусть у Ярика с ней составитсЯ. Пускай счастье обоим выпадет. Вот за это давайте вздрогнем! Возражений не принимаю. За Баранова и за Лидку! Громче звон! Взвод! Делай, как я!

Гарик жажнул, как на параде:

— За Баранова! За Лидок!

И Багира с напёрстком:

— За Славу с Лидочкой!

Я глотнул свои полстакана. И глотнулось, как в первый раз. Может, так и есть — за такое.

Зажевали с большим азартом.

— Пацифист ты и альтруист, — сказал Гарик. — И других таких я не знаю. Ты его, пантерка, не обижай.

— А ты правда думаешь, что он вежлив? И его так легко обидеть?

— А представь себе, правда думаю. Да не просто думаю, просто знаю. Поживи и сама увидишь. Гарик Яхта он прав. Причём, как всегда. А тебя снедают сомнения? Супермен, да, и всё такое?

Тут Багира пожала плечиком. Ну, а я сказал громко:

— Брэк!

В мои планы на вечер, которых не было, но они всё ж где-то таились, обитали скопом всем в ноосфере, в них никак не входило, чтоб я безропотно позволял гостям про себя судачить. И хоть это не просто гости, закадычный друг и прыгунья, сиганувшая с неба мне на башку, ничего их не избавляет от учёта законов дома, и хозяином в доме я.

— По углам! Гонг! — сказал я. — Имейте ж совесть. Про меня при мне. Вам не моветон?

— Ты как цербер сегодня, — заметил Гарик. — Или ты за Багиру, как пёс цепной?

— Ну спасибо, друг, тебе за цепного. Всё ж не бешеный.

— А ты ж Бешеный! У него, Багира, у нас сто прозвищ. И частенько Бешеным окликают.

— А я знаю, — сказала Багира. — Он мне это уже сказал. Рассказал, не дождавшись вас.

— Кого вас?

— Тебя не дождавшись, Гарик. А вот ты обратился к Ивану «Малый». Это прозвище? Или так?

— Да, конечно. Он же Малыш! А ты думала Великан?

— Представляешь, Багира, — вмешался я. — Угораздило, не придумает! Шесть родных моих

футов с хвостиком не хватило, не вышли ростом в нашей дружной компании Гулливеров. После лета пришли в восьмой, а за лето вымахали на голову, и заметным стало, что я Малыш. А вокруг все дылды, как Гарик с Банным. Репу взять, Порох, Щёкин, Ляма с Урядником. Да в кого ни тыкни! Все впереди по ранжиру на физкультуре. Поколение акселератов! К нам туда бы Баранов запросто с его метр девяносто пять.

Знал, что два, но ляпнул, что пять. Потому что у Гарика столько же. Может, в самом деле, недобр? Очень смахивает на правду. И ещё вот что за пургу несу? Ну на кой ляд Багире про футы с дюймами, сантиметры все наши без миллиметров... Так рукой подать, гляди, до того, чтоб нам с Гариком членами потягаться. Говорю же, виски не мой напиток. Я, пожалуй, приторможу. Хохма будет, если получится.

— В нём действительно, как во мне? — спросил Гарик про рост Баранова.

— Может, больше на пару дюймов.

— Пару дюймов?! — он посмотрел мне в глаза, потом на Багиру. — Пару дюймов, — сказал он ей, — это пять почти сантиметров. Издевается?

— Издеваюсь.

— Разговор не клеится, да? — сказал Гарик. — Странное дело. Это ты нас, Багира, смутила, да. Как павлины. Хвостов же нету! Понесло нас в степь, в сантиметры с метрами. Ты, старик, кстати, сколько вешишь?

— Так сто семь всё те же. А что? Смотри. Я ж не прячу. Сам можешь видеть.

— Предлагаешь и мне раздеться?

— Пока нет. Просто так скажи, сколько вешишь. Раз решил, что Багире наши кэгэ интересней, чем ярды с дюймами.

— Не решил. Мы с тобой два болвана оба. Но я скажу. А чего скрывать? Утром было во мне сто десять. Вот, Багира, как на духу. Ну и правильно. Я же выше.

Рассмеялся Гарик и сам себе, и, со мной на пару, всему на свете. А Багира нам улыбнулась.

— Эк нас клинит! — воскликнул Гарик. — Это что же с нами такое? Неужели Яшка чудит? Остаётся только достать и своим с тобою померяться. Ты не против, Багирочка? Мы по-быстрому. Да шучу! А то и могу достать. Если нет возражений. Шучу ещё раз!

— Ну, полковник, таким макарком мы с тобой через час с катушек.

— Я вот тоже смотрю, — сказал Гарик. — В поворот, пожалуй, не впишемся.

Помолчали. В меандр усталились. У меня тут такая клеёнка, на которой такой узор, зазеваться, не оторвёшься. Гарик знал про опасность эту.

— А давайте-ка я пойду из ведра студёной водицей. Не пугаться! Разденусь там. Там же, думаю, и оденусь. Гут контроллен. Чао! До встречи.

И на кухне сделалось тихо. И беседовать не хотелось. Потому что глаза в глаза. И безмолвие было сладким. И на краткий миг вдруг она мне так, будто тут со мною давным давно, а потом вдруг до ужаса мне чужая; но чужая в двух измерениях: вот в одном, где только что встретились, а в другом — расстались уже навеки. Сплетено всё да перекручено.

Господин бы Мёбиус⁹ был доволен. Вот такие вам непрерывности без разрывов, значит, и склеек. Топология, йо-ма-ё!

— Тошно вам? Всё не так? Я порчу?

— Ты способствуешь, Дуся. Цвети и пахни.

— А чего ж вам не по себе?

— Ну, Багира, вопрос дурацкий. Ты ж не только что прибежала. Ты ж, как тот Дровосек, всё видела.

— Верно. Сдуру помочь вот сунулась. Вам не надо мне отвечать.

— Почему? Скажу. Нам стыдиться нечего. Мы, Багира, кинжалов не умыкали. Никаких. Ни с трупов, ни из музеев. Хотя с Гарика оно станется. Собиратели с Репой, блин. А мне «Jаск» не пошёл, только и всего. Мне давно уже виски не надо бы. Вот попробовал, ну, а вдруг. Результат доходчив. Сваргань чайку, а?

От плиты Багира сказала шепотом:

— Я сказать всё хочу, да некуда. Я хочу, чтоб знали, что там под люстрой вы меня подкинули к звёздам, я летала там среди звёзд, никогда ничего подобного, я не знала, что так бывает. А ты знал? А тебе случалось? А со мной в этот раз? А вам?

Из ванной донёсся к нам рык богатырский. Первый — пошёл!

— А нам? — сказал я Багире. — А нам спасибо? Так на здоровье, Дуся. Тебе! Пускай пригождается.

— А вам?

⁹ Лента Мёбиуса (лист Мёбиуса, петля Мёбиуса) — топологический объект, простейшая неориентируемая поверхность с краем, односторонняя при вложении в обычное трёхмерное евклидово пространство \mathbb{R}^3 . Здесь их существуют два типа в зависимости от направления закручивания: правые и левые.

Новый нам сюда рык из ванной. Второй — пошёл!

— А нам, Дуся? А я скажу. Мне с тобой, дорогая девушка, тоже, знаешь ли, баснословно. Спишем, Сарра, на долгую голодуху, да? Вот проехался ж по мне годик! Слава богу, что чешет к финишу.

— Вам зелёный?

— Ох, мне зелёный!

Третий рык нам сюда он всем рыкам рык. Не иначе сам дядька там Черномор в три ведра воскресает Гарика Яхту.

— Фуххх!!! — нам выдохнул сюда Гарик; видать, дверь из ванной пнул нараспашку. — Пацаны! Вы как там? Люди, живём! Скоро буду! Вы как, ещё не того? Не того там! Полковник, халат возьму?

— Ты, полковник, халат возьми!

— Я возьму!

— Он у Лидки в спальне!

И шаги в коридоре, босые, влажные. Боевой пловец без воды не может. От него нам в кухню зычный вопрос:

— А там Лидки нет?

— Не боись! Уехала!

— А не то ж конфуз!

— А не то б конфуз!

— Точно нет?

— Как будто и не было!

— А вдруг есть? Тогда что?

— По обстоятельствам!

— Я вхожу? Под твою ответственность!

— Да смелей толкай! Там не заперто!

— А халат в шкафу?

— А халат в шкафу!

Отхлебнул из чашки горячий чай; почему-то не обжигает, а бежит, как к себе домой; и запой не телится, нет его, он не смог сюда даже сунуться. Чудеса, Южанин, а Дуся фея. Не впервой тебе по уши да во всех? Во всех разом! Единолично. А потом отдуваться за всё и вся. Не гони, Ванюх, на себя напраслины, подсказал мне тут Дар Событий, заглянув на мгновение в кухню. Тебе б, Ванька, себя б обнять бы, а не дуть на то, что давно сбежало. Вам понятно, что он хотел? Перепутал пару пословиц, как всегда, да и был таков. Тем не менее, польза и тут найдётся.

— Я люблю тебя, Дуня. За чай спасибо.

— Уже Дуня?!

— Это нам не предел. Вот, влюбился. Не удержался. Ну и что нам теперь прикажешь?

— Вы не шутите? Я расплачусь.

— Да зачем? Мы ж можем иначе. Раздевайся. Залезь на стол. Встретим друга, как подобает.

— Вы серьёзно? Вы так хотите?

Эх, вы б видели этот взгляд.

— Да, пожалуй, что не хочу. Мне сдаётся, сейчас не к месту.

— Только лишь? Потому лишь только?

— А ты думала, пожалел?

И Багира трижды кивнула.

— Не надейся, Багира. Не пожалею. Чего б этого мне не стоило б. Аж до Нового года. А там...

— А там?

— А вообще б взяла б драпанула бы. От греха подальше. Пока не поздно. Так бывает, сходят с дистанции, если дальше не по зубам. В этом нет ничего зазорного. Это лучше, чем после сломаться

нафиг. Мой совет тебе от души. Самый раз сейчас, тютя в тютю, отказаться и проиграть. Отсидишься у Саньки в комнате. Завтра купим тебе билет.

Она даже вздохнуть не стала, побледнела, сложила руки и глаза сухими оставила, цвет их снова не угадать; только в голос проникла дрожь, но она, как узор по бархату. На меня от того, что вижу, от того, что сейчас услышу, накатили такие чувства, что, клянусь вам, не передать. Тяжело, влюбившись, любить, полюбив, любить тяжело. Вот такая вам, братцы, присказка.

— Понимаете, Иван Александрович, ваш совет мне, как ни крути, ну никак он мне не годится. Понимаете? Так поймите! Я останусь. Вы же не гоните? Или гоните? Вы ж хотите, чтоб я осталась. Вот как раз пожалели взяли. Разве нет? А напрасно, а зря, мой аплокион. Как же наш здоровый цинизм? Он куда тут вот только что подевался?

— Не хамя. Я не в настроении.

— А я не хамлю. Просто я вам тут всю дорогу через пень-колоду кажусь пришмаленной, да? Но вы же, батенька, умный.

— Батенька?! Дуся, это ты с кем тут?

— Не придирайтесь. Дайте сказать. Вы же опытный, как пророк! Битый, тёртый, с войны, контуженный, пулей меченый, властью давленный, излюбившийся, настрадавшийся и страдающий, и талантливый, и отважный, так вам не знать ли, что мои тут взбрыки так это так, издержки, стружки начала странствия, мы же в самом его начале... Нам за счастьем. В любовь. Навек. Ну так как? Я права? Не гоните?

— Кто кого? — гроыхнул нам Гарик, входя в кухню в моём халате, где на чёрном красный дракон. — Кто кого, куда, зачем, почему? Доложить причину! Не скрытничать!

— Он меня, — сказала Багира.

— Он тебя? — воскликнул ополоснувшийся. — Он тебя! Так и я б не против!

— Ну, смотри, Фаллалеева, — сказал я. — Дело твоё. Сама захотела. Жалоб после не принимаю. Что, полковник, недооблился?

— А что? Пошл вам не по годам? Так а вы не тушуйтесь! Вы ж меня знаете.

— Он меня, — сказала Багира, — он меня, Иван Александрович, захотели, Гарик, прогнать.

— Тоже дело! — Гарик уселся. — А в чём причина? Прощтрафилась? Или так сатрапствует?

— Да ни в чём уже. Не прогнал.

— Слава Богу! А то б скучал по тебе, представь. Ты что, Иван, чай гоняешь?! Полковник! Вот это шухер! Ну, раз, братцы, такая пьянка, так и мне, рискну, да погорячее. А лимоны есть? Пол-лимона мне!

Багира с чайником у плиты, я сказал ей в спину:

— А была готова? Если б я ответил, что да, это то, чего я хочу.

Обернулась через плечо, посмотрела в глаза мне дерзко, с укоризной, но по-охотничьи.

— Так откуда ж мне знать? Не стали ж. А казаться всякое может.

Я б так это прокомментировал, и совместно с Даром Событием, и без оногo, в одиночку: быстро учимся, ездим медленно.

— Показалось как тебе? Всё исполнила б?

— Когда кажется, сударь, крестятся.
Комментарий без изменений. Ну, а Гарику чай с лимоном.

— Так и в чем, друзья, ваша недолга? — спросил Гарик, хлебнув с полчашки. — Что за камень тут преткновения? На который нашла коса. А нашла коса? Или как?

— Да никак, — сказал я. — Обычные мансы. Мне хотелось тебя приветить после странствий и трёх ушатов ледяной воды на башку. Всё ж не виделись почти год. Встретить друга во всеоружии. Чтоб красавица на столе. Во всём блеске. В одном хайратнике. Мне подстать. И тебе на радость.

— Да не надо мне. Ты чего чудишь?

Эх, Багире тут не скумекать. Она знает меня три дня. Сколько б я ей во снах ни снился. Для неё я сверхчеловек без сомнения и упрёка. И другого пока ей не показали. А с Георгием Яхтой мы тыщу лет. Мы знакомы до безобразия. Давно б скука уже взяла бы, если б только не наша дружба. Та, что раз в тыщу лет как раз. Что цены как раз не имеет. И ему мой *modus vivendi*, тот, что виден ему сейчас, уже после трёх ледяных ушатов, он ему-то как раз в диковинку; ну, не так, чтоб уж прямо, а трошкы сбоку, потому что, конечно же, понимает, что досталось мне, что хандрю, и пытаюсь хандру развеять. *Он* ещё бы не понимал! Но как раз по вопросу с *girls* у нас с другом много нюансов, тут так сразу не передать. И пока что замнём для ясности.

— Ты вруби, полковник, вообразуху! Мы с Багирой, как Ева с Адамом. До падения. И задолго. Ты заходишь, а мы тебе тут как тут. Чем не блеск!

Разглядывай красоту, сколько влезет. Никто не гонит.

— Не хочу я тебя разглядывать, — отшутился он вяло, допил свой чай и спросил ещё.

— Ясен день. Я переживу. Ты её б разглядел всю, какая есть. Дух бы спёр себе от пропорций, каких сроду ещё не видывал. Ну что скажешь, плохая встреча?

Гарик кисло мне улыбнулся, а Багиру в спину спросил серьёзно:

— А ты что, заартачилась?

— Не угадал, — она поставила перед Гариком чашку с чаем и села к столу между нами. — Иван Александрович, Гарик, сами ж и передумали. Зарубили сценарий свой на корню.

— Мракобес! — сказал Гарик мне с уважением.

— Да, представь себе, счёл не к месту. Уже жалею.

— Так зачем на девушку наезжаешь? Пошто, барин, прогнать хотел?

— Интересно?

— Ну, как сказать.

— А по то, что у нас с ней, Гарик, испытательный срок. Понятно? И не вздумай тут, ради бога, поучать меня, что с ней делать.

— В мыслях не было! Ты чего?

Тут уж точно, таким меня бедный Йорик ещё не видел, и слышать от меня такого, чтоб в свой адрес, он не слышал. Попытался после купели он подстроиться под товарища, чтоб на пару с ним разогнать угрюм, как умеем, десятки раз получалось. Но сегодня вот не заладилось. Ритм сбоят. Сам в него то и дело не попадаю. А причина в чем? А достало всё.

Вдруг достало, и хоть ты тресни. Я ему, чтоб меня не мулило, залепил ещё и такую чушь.

— И ещё тебе вот что скажу, полковник. Только ты, как в том фильме, не обижайся.

— Что ещё? — сказал Гарик. — Ты з глазуду съехал? Вы, Иван Александрович, нас пугаешь.

Мне его ирония по боку. Доскажу вот и успокоюсь. Да, Событьюшка? Заховався? Разбежались все. Ванька бешеный. Я сказал им всем нехорошим голосом:

— Эта девушка, Гарик, смотри, моя. Больше, чем предыдущие все вместе взятые. Это надо усвоить тебе. И мне. Нам с тобой. Да всем, кто сюда пожалует. И, конечно, не забывать! Вот такой вот фокус нового времени. И как только мы, ты да я, с тобой это уразумеем, так заладится сразу вечер. И начнётся новая жизнь.

Вот, добился я наконец — у Багиры отвисла челюсть; по-другому сказать — рот разинула. Ну а Гарик, наша Ангола, чай прихлёбывал и молчал. Попросил и себе я чаю. Мы молчали минуты две, может, три, а, может, четыре.

— Полегчало? — спросил Ангола. — А теперь давайте сначала. Я тут тоже нагородил. Миль пардон! С утра рано начал. Но теперь ни в одном глазу. Мы на ты, пантерочка? Или заново? Вот и славно. Я так и думал. И надеялся. Значит, ты. А старик, полковник, мой друг любезный, ты случайно в доме не держишь водки?

— Поискать в коврах да по чемоданам.

— Чемоданам? Они ж, пожалуй, того? К Барна-улу переместились.

— Мысль неглупая. Пошукаем. А зачем она, кстати, нам?

— Да не знаю. Найди, узнаем.

Я вернулся с двумя бутылками; и пока я их добывал из ковров в той комнате, где всё свалено, Гарик с Багирой, можно не сомневаться, обменялись своим сочувствием мне, сердешному, каково мне нынче, такому прянику, что его зажевала Лидочка.

— Да не так всё, дамы и господа, как нам кажется! — объявил я, входя на кухню. — Расталдычить вам заново Расёмон?

— Иван мысли читать здоров, — сказал Гарик. — Ты это знаешь?

— Уже знаю, — она сказала. — Он со мною с этого начал.

— В морозилку сунем? — спросил я на всякий случай.

— Не успеет, — резонно заметил Гарик. — Обойдётся. А мне сдаётся, что единственный способ нам протрезветь после Яшки коварного, чтоб ему, чтоб воспрять нам и стать, как стёклышко, это жажнуть нам по стакану.

Ну и кто б сомневался, что в этот миг в дверь, конечно же, позвонили.

— Я открыт любым возражениям! — сказал Гарик великодушно.

— Да какие ж могут быть возражения? — подивился я и сам себе подивился, потому как спросилось искренно. Может, в самом деле мне полегчало? Знать ещё бы вот, отчего бы.

— Как какие?! — воскликнул Гарик. — Как какие? А Расёмон? Он во мне произвёл катарсис! Да, Багира? Скажи, катарсис?

- А нам дверь открывать не надо?
— Дверь? Зачем, Дуся? Что за дверь?
— Ну, не знаю. В неё звонят.
Тут как раз позвонили снова.
— Вы хотите, чтоб я открыла?
— Да не стоит. Сами уйдут.

Был у нас в арсенале с Гариком такой финт для малознакомых. Мы хранили невозмутимость пред лицом очевидных действий, в коих вдруг возникала надобность. Вот, к примеру, конфорка гаснет, и шипит на всю кухню газ; мы ж не сами там на той кухне, в окружении мы прелестниц, как уж с юности повелось, продолжаем мудро беседовать, не ведём и ухом на то шипение, что нам газ, мы ж о Сартре с Кантом, тут и Ницше, и Шопенгауэр, да тут Шрёдингер¹⁰ сам с котом, вот и мы с нашим газом подстать все коту тому, что ни жив, ни мёртв, а и мёртв, и жив, и при этом одновременно, ну, а что ж мы можем, а ничего, можем только захлопнуть форточку, чтоб добро же не пропадало, и конфорок ещё включить — для наглядности релятивности, и эффект не хуже, чем у Хичкока. Или вот телефон трезвонит, а мы не берём, или в дверь звонят — мы не открываем, и не просто, а так, как будто не слышим. Или хлынул вдруг дождь, а нам невдомёк, хоть и ясен день, что над нами ночь, и мы в парке с крошками с танцев на скамейке, в кусты задвинутой. Или вот, или вот, или вот ещё. Этот финт забавлял

¹⁰ Кот Шрёдингера — мысленный эксперимент, предложенный австрийским физиком-теоретиком, одним из создателей квантовой механики, Эрвином Шрёдингером, которым он хотел показать неполноту квантовой механики при переходе от субатомных систем к макроскопическим.

нас долго. Но давненько не на ком было демонстрировать нашу слаженность в нашей парной невозмутимости. Вот Багира пришлось тут кстати.

Гарик зычно оповестил, что теперь он ни в жисть не выпьет, пока всех не узнает мнений на сей счёт по любому поводу, как у нашего Куросавы; да не то, что выпьет, не откупорит, да не купит, и не подумает, пока каждый своё не выскажет, пока всё не решится к лучшему, как у нашего Куросавы.

В дверь звонят, и теперь по-длинному.

И Багира не устояла:

— Это ж может быть Анжелика.

— Анжелика?! — воскликнул Гарик. — Ну вот это вот Расёмон!

— Анжелика? — сказал я. — А что? Неглупо. Я, пожалуй что, посмотрю.

Я поставил на стол бутылки, потянулся, сладко зевнул и заметил в себе снова искру Божью, а то ж вдруг куда-то запропастилась. Гарик, друг закадычный, мой верный Гарик, он уже, как видим, взял да помог. Отодвинул хандру крепкой дланью за угол. Я обнял его.

— Ты чего, старик?

Я потопал по коридору, наступая во влажные следы Гарика, ну а в дверь звонили уже всегда. Я взглянул на котёл у себя на запястье, а иными словами на всё, что на мне и было, и светящийся циферблат, он всегда весёлый, всегда мне нравится, показал приглушенной зеленью, что натикало, на секундочку, нам за девять уже двенадцать минут и уже двадцать пять секунд; двадцать семь уже, двадцать восемь... Продолжают тикать. Звонок умолк.

Я спросил шаляпинским басом:

— Это кто в ночи припёрся непрошенный?

Мне ответили:

— Это я.

— Я?!?! Какое такое ещё вдруг я?! Я — тут весь.

Я — здесь! У себя в дому. А за дверью нет никакого я! Ты, быть может, куда ни шло.

— Шло пришло! — оттуда сказали.

— А не факт! Пока не открыл, там ни то, ни сё...

— Сё! — сказали мне. — Всё, миленький, всё!

— А не факт! — я вошёл в кураж; да и надо б уж, а то чуть не скис. — Пока двери, Джикочка, не распахнуты, на пороге там только австрийский кот, блин, от Шрёдингера щедрот.

— Умоляю! Тут ты пришло. Впусти, Ваня, оно продрогло.

Я открыл. Она не вошла, а впрыгнула. Кенгурёнок через порог.

— Так и знала, что наломала! Ты как раз Багироньку, Ваня, да? Она слышит нас? Она где? Кто ещё тут? А *будет* оргия? Ты при шпаге? А я холодная. Зябко там у Кирюши в травматологии.

Я повесил её шубейку. Анжелика ко мне протянула руку, чтоб подержаться.

— Лёд и пламень? — спросила. — Забрать? Зноблю?

— Подержись с морозца. Жар мне уймёшь. А то, знаешь, мать, распалился.

— Распалился? А нам не видно.

Протянула вторую руку. Ну и тут как раз стало видно.

— О! Проснулся? Узнал? Ну, здравствуй. Не забыл ещё Анжелику? А мы напомним. Мы напомним, Ваня? Не преминём? Или выставишь неухоженной?

— Будет вечер, милая. Будет видно.

— Так уже же ночь!

— Дни короткие. Служба длинная. Приходи здороваться.

Прежде, чем разжать прохладные пальчики, Анжелика склонилась и чмокнула пробуждённого.

— Это я. Я к вам первая на приём.

Ей на кухне просохший стул застелили Лидкиным пледом. Гарик рад ей был, как родной.

— Анжеликочка! Вот так встреча! Сколько лет!

— Погоди, сломаешь, Гарик. Помнёшь.

Она отстранилась, выскользнув из его объятий, развернула промокший газетный куль, и газета на пол, а Багире алоэ о многих щупальцах, тугих, толстых, тёмно-зелёных, из земли в горшочке размером с диск от АК, что на семьдесят пять. Он, горшок, и в цвет угадал под диск. У меня в горах был бледно-зелёный; а в Анголе у Гарика тёмно-серый.

— Это мне?! — смутилась Багира, пунцовой сделалась.

— А кому ж? Не им же! Пускай тут будет. У тебя тут! Такой цветок твой. Для начала. На счастье, мать.

— Просто чудо! Ну ты чудачка! Вот врасплох уж... Ну не ждала! Ну ты фокусник, Анжелика! Я так дурочкой прослыву тут... У вас, у нас... Что ни день, то реву по десять раз на день...

И Багира с глазами на мокром месте Анжелику чмокнула в щёчку и, метнув в нас с Гариком по искре на каждого, унеслась с алоэ по коридору и открыла в ванной погромче кран.

Анжелика же нам сказала:

— У старухи, где квартируем на девятой Фонтана, у неё там их целый выводок. Не убавится. Верно ведь?

— Анжелика! Ты что, душа, с подоконника фикус стыбрила?! Так недолго и топором! А старуха, случаем, не процентщица? А ты, часом, не Родионова?

— Да скажу я ей. Не терзай. Заплачу́ потом, если хватится.

— Наша паинька! А то ж Порфирий, гляди, Петрович потом как вцепится, не отцепится...

— Вот заладил! — фыркнула Анжелика. — Гарик, друг мой, давно все поняли. Ты читал роман каторжанина. Все читали, и ты читал. Подналёг и осилил, правильно?

— Узнаю наш остренький язычок! Отточился. Теперь обнимемся?

Гарик был умерен в объятиях; с поцелуем, конечно, переборщил.

— Фух! — сказала ему Анжелика. — Ну всё, довольно. Мы не так уж давно не виделись.

Шутка юмора. Молодцом.

— Вот плутовка! — сказал нам Гарик.

Анжелика ему ответила:

— Ну, а бицепсы, Гаричек, всегда вижу я твои бицепсы перед мысленным взором, когда каждый день о вас думаю, о Южанине и тебе, сразу ты там тоже, во весь свой рост, сперва бицепсы, потом ты. И сейчас сквозь халат — просто слов нет! Но! Другому принадлежу. Халат твой, Ванюш?

— Знаем-знаем, — заверил Гарик. — Не станем пальцем.

— А давайте, мальчики-девочки, хватит здрасьте. Плюхен зи жоп. А то что-то опять застряли.

Гарик с жалобой к новоприбывшей:

— Командирствует всю дорогу.

Мы расселись втроём, а из ванны шумит вода. Анжелика спросила:

— А чего, Вань, она, мать, и вправду такая сентиментальная? Или просто презент мой там намывает?

Я пожал плечами.

— Какие плечи! Обожаю видеть! Смотреть... Дашь прижаться? Пока не видят.

— Отвечаю на твой вопрос. Вроде нет. Сентименты в норме. Ну, не выше гемоглобина.

— ?

— !!!

— Вся на нервах? Это пожалуй. Но ты тоже, Джика, врубись. Ты ж и вправду её проняла насквозь. Тут вот. Только что. У неё ж здесь кто? Шаром покати. Ни защитников, ни друзей. Вот рискнула, одна на один со мной.

— Я бы тоже не отказалась. Вот не вижу причин, чтоб нюниться.

— А с утра ты слезу из неё повышибла? Так сама знаешь, чем.

— Так а я не знаю, — сказал нам Гарик. — Это чем же?

— Да историей с морячками.

— А-а-а. Знакомство? В ночь. На обрыве. Ну, конечно, душещипательно. А ты что, Анжелика, в подробностях? По-скабрёзному? Наповал? Так и я бы не прочь послушать. Может, жажнем и повторим?

Анжелика меня спросила:

— Она что, сама приبلудилась?

— Приبلудилась? Да нет, товарищи. Сиганула без парашюта прямо к Саньке в склад продовольствия. Только Саньки уже там не было.

— Ну, чем дальше, тем непонятнее, — сказал Гарик. — А что за склад?

— Ты расскажешь по-человечески? — мягко справилась Анжелика.

— Ну, ребята! Цыплят по осени. Кто ж болтает на переправе?

— Вот привычку взял! — Гарик вздох нам свой на все кубики. — Шьёт теперь он нам, Анжелика, и по поводу, и без повода, одеяло на всех лоскутное. Из пословиц и поговорок. Прежде, сердце моё, пока его не печатали, он попроще был. Не находишь?

Анжелика ему ответила:

— Я не то, дружочек, ишу в Южанине. И сравнить его не желаю. Хоть и даже бы с ним самим. Всё, что хочется Анжелике, оно вот. И потрогать можно.

И она без второго слова повалилась набок на стул Багиры, под столом протянула ко мне ручонку и потрогала; очень даже. И сама отметила:

— Очень даже! Пока не смотрят.

Воротила себя на место и уселась заново паинькой.

— Говорю же, с его сандаликов не достойны с тобой мы, Гаричек, отряхнуть и прах, понимаешь? Согласись, и будем дружить.

— Он босой, — сказал Гарик. — С чего отряхивать?

— Так со стоп его. Разберёмся. Но однако же недостойны.

— Я бы всё же претендовал, — сказал Гарик, минуя вздох. — Я же чистильщик! По призванию! В этом деле просто айсор!¹¹ Я такое могу зачистить!

— Благородно!

И Анжелика протянула Гарику руку; тот пожал, потом приложился и чмокнул. Анжелика тряхнула кудряшками, оглянулась на коридор.

— А куда подевалась девушка? Не журчит давно. Тишина.

— Умотала с фикусом, — сказал Гарик. — Может, этого и ждала.

— Он алоэ, Гаричек.

— Анджик! Фи! Я ещё при северном ветре отличаю фикус от кактуса. Но так кликать его? Он и так алоэ. А ты снова ему «алоэ!», мой «алоэ!», светик «алоэ!». Так, сударыня, согласись, это несколько скудоумно.

Анжелика пожалала плечиком и тряхнула свои кудряшки.

¹¹ Айсоры — народ, живущий разбросанно среди других национальностей в сев.-зап. части Персии, в турецком Курдистане и в пределах России. Всего их до 300000, а в России около 2400. По языку принадлежат к арамейской ветви семитической группы; большинство говорит урмийским наречием; русскоподданные говорят еще на саламасинском. Трудолюбивы. Высшим образованием среди них считается умение читать священное писание. Сохранили свой антропологический тип; их считают наиболее уцелевшими потомками древних халдеев. Сами производят себя от Ассура, сына Сима, внука Ноя. В Одессе после войны среди уличных чистильщиков обуви, помимо безногих инвалидов, было много айсоров; и тех и других в городе знали по именам. Сперва таинственно пропали инвалиды, а потом, в перестройку, и все айсоры до одного.

— Может быть, что ты, в халате с драконом, даже прав. Но слово красивое. Сам пропел его трижды вот только что. Разве нет?

— Ну, пропел, — отшутился Гарик. — Пропел — не предал.

Тут явление нам — бесшумное, но зато изрядно заметное. На Багире платье бордовое, под тунику, с плечом свободным, и по низу скошено смелым росчерком; воронные волосы без хайратника опять надвое, пополам, две волны колышутся балла на три. Грешным делом, я в первый миг ошарашился не по делу: ум за ум зашёл, Лидок, в прошлом Златка, вдруг они, обе-две, ярко вспыхнули, яркой болью в глаза мне брызнули; на Лидок в ночь, на них, на двадцать второе, а сейчас вот только лишь двадцать пятое, не успело ещё закончиться, там на них туника такая же, что сейчас на Багире, один в один, обожаемая, прекрасная, в горле ком аж, сколь ни гляди; паровозом, горной лавиной, прокатил сквозь меня весь бред, припасённый к таким мгновениям благодетельно нам, придуркам, чтоб не чванились понапрасну: неужели Лидка вернулась?! а хо-хó тебе не ху-ху? глаз разуй — Багира Багирой, не похожа ни на кого; тогда, значит, Лидка забыла обожаемую тунику, а Багира её напялила, простодушно, чтоб нас порадовать, ну не полная ль идиотка!? паровоз в коммуны отгрохотал, всё, сошла лавина, отгрохотала; цвет бордовый с *другим* оттенком, очевидно, коль не пужаться, ну и срез внизу под другим углом, для глазастых, кто понимает; трухануло меня на миг, но доходчиво, аж взопрел, аж дух перевёл, пришлось вот. Хорошо, что взоры в другую сторону. Ну, не все.

Глаза Багиры в мои глаза, но в каком-то смысле в таком наряде в ту минуту не до меня ей.

— А куда поставить новый цветок? Так, чтоб вам не мешал. Иван Александрович. Если вы не против.

— Багирочка! — вскричал Гарик. — Да к чертям его сатрапство! В жопу фикус! Пардон, друзья. А вот это я понимаю! Вот наряд! Багирочка! Я сражён! Каблучки! Ты ж ростом теперь с меня. А давай я тебя расчеломкаю!

— А давай пока не давай, — сказала Багира, и Гарику пришлось снова сесть. — До дальнейших, покамест, распоряжений.

— Ну что за дрессура! Ты что, полковник, заделался укротителем? Дурной пример заразителен?

Я рассмеялся, как можно повеселее, и сказал Багире, но ещё прежде Анжелика сказала ей:

— Мать, ну, мать! Да ты просто неотразима!

А тогда уж и я своё досказал:

— А вот Гарик, он в корень зрит, да? Из огня да в полымя! Ускользнула от одного, угодила в лапы к другому?

— В таком ракурсе, Иван Александрович, так меня тут вам трактовать никому тут не посоветую, ни хозяину, ни гостям. Я не жертва. Я доброволец. Да и вы, никакой вы не Карабас.

— Это точно! — заметил Гарик.

— Да, не вышел, — вздохнул и я.

Ей, конечно же, невдомёк, что вlepила тут нам двусмысленность. В нашей доброй Одессе-маме Карабасом звали авторитета, что как раз взoшёл во влияние; не пустой звук для одесситов; с чуже-

странок же взятки гладки, а потом, глядишь, и пора уже восвосяси.

— Так куда алоэ, мой господин?

Им пришлось это схавать, «её господина», схавать каждому на свой лад. И поскольку тупых тут пока не прибыло, не успели ещё пожаловать, то все разом уразумели, что Багира больше не шутит, слёзки в сторону и туда же предрассудки с авторитетами, нервы в жменьку и страхи по боку — ну, кому тут что тут не так? Уходила от нас в смятении, воротилась сюда пантерой. На таких каблуках пантера, что, коль прыгнет, не поздоровится. Вот такой цветок чудодейственный Анжелика преподнесла. Что ж, спектакль обороты, глядим, набирает. Хорошо, что нашлось мне местечко в зале, что не выперся сам на сцену. Хорошо, что другим об этом неведомо, что один я только про это знаю. Оттяну я свой выход, как можно далее. А получится, так избегну вовсе.

— Да куда, госпожа, желаешь,— сказал я, чтоб не унывали, не один я тут господин. — Вот туда и определи. Да, полковник? Как *ты* сказал. Ай да Джика! Сколько внесла фурору!

На такой манер всем раздал, как мог. В стык примчался и Дар Событий, тут как тут, и заметил мне из-под потолка, примостившись там под лепниной, что, коль скоро те манования, что вот только что произвёл, всех утешив и приголубив, называю я не участием, а отсиживаньем в сторонке, то тогда, Иван, а чего же ждать от тебя, Иван, когда ты в разумении, тебе свойственном, вступишь в действие не на шутку? свальный грех? ты туда, что ль, чаешь? туда лыжи востришь, проказник? Так увидишь. К чему лы-

ля? Тебе ль, Даруша, поперёд батьки? У тебя ж всегда, Событьюшка, твоё место в первом ряду. Дар Событий фирменно хмыкнул и ответить что не нашёлся. Но пока я с Даром беседовал, то наткнулся в десятый раз, ну, считай, как в кухню перебрались, я в себе на гадкое ощущение, что симпозиум не заладился, и не ладится, хоть ты тресни, что ни делай, а лажа всё, вот проникла и тут кусается. И с тяжёлой, пакостной неохотой я решился признать, что причину знаю, всё при мне, и она при мне; дураков, ребята, шукайте в зеркале, там их столько! — на каждый день. А причина, увы, такая, что так сразу не отмахнёшься. А причина она простая — прикипел я заново к Ярику, посильнее, чем на войне. Господин Ярослав Баранов, укротитель и Калиостро, основатель нового цирка и воспитанник Косоварова, и полковник, предположительно, и ещё он бог знает кто, произвёл тут такой фурор за одни неполные сутки, что пробрал меня восхищением, обалдением с охрениением; сдвинул в сторону он привычные, а хотите, скажем постылые, декорации на фиг в сторону, а за ними открылись новые, для ещё не сыгранных пьес. И во мне бурлит предвкушение неизведанных перспектив. И Баранов во мне бурлит — неохватностью новой дружбы. Ну, а мой закадычный Гарик, он просёк во мне звук иной и навскидку приревновал, может, сам того и не зная. Вот такое признать был вынужден, чтоб потом себе не пенять, что не в добрый час смалодушничал. Вот такая вот диспозиция. Вот оно и неудивительно, что на сцену пока не тянет.

— Жахнем, люди! — сказал нам Гарик. — Сколько ж можно уже не жахать?

— Я голодная, мальчишки, как волчица! — Анжелика сама себе рассмеялась. — Вот рефрен у меня с утра. А шампанское ещё есть?

А нашлось для неё мускатное. И Багира вернулась заново, примостив где-то свой алоэ. Гарик с треском свинтил со «Смирновки» шапку.

— По стакану?

И тут я понял, и тут вдохнул. Эта фраза «И тут он вдохнул!», она к нам от Гарика, в наш фольклор, из его истории про напарника на задании в связке с ним под чужой водою, про несчастье на глубине; у Георгича тех историй столько, что не пересказать; нам достался от той трагедии такой вывод в четыре слова, применяем не хуже «глюка», а значение в нём такое же, приблизительно, что у слова, подвернувшегося Багире нынче днём, в пять часов пополудни, после «Пасынков» — для рецензии. Вот и я вдохнул тут в том самом смысле, потому что понял, что риторичность для меня простейшего из вопросов нафиг вдруг подалась куда-то. Я вдруг понял, что не хочу. Ни стакан, ни рюмку, ни литр, ни грамма... Вот оно, потяни за ниточку, а оттуда вылезет крокодил. Миг назад остался собой доволен, что не стал с собою юлить, отыскал не на стороне и признал причину сумятицы. Только ж вот. Оно же вот только что. И пожалте новый облом. Нет, ну как вам? Пожалте бриться! Я запойный с восьмидесятого, то бишь, сразу после контузии. Ну, не сразу, сперва с полгода просто литр «Пшеничной» на завтрак, ну, не литр, конечно, ноль восемь, ну, а то и ноль семь'сят пять, на обед такую же и на ужин, и потом ещё в вечеру, как получится, сколько выйдет там, со товарищи по гостям, в кабаках, да на склонах за полночь; и,

поверить, конечно, трудно, а проверить, так и подавно, но однако ж надобно понимать, что сперва смущало только количество, а по сути водка нам не мешала, ни трудам под солнцем, и ни, тем паче, нам досуги, други-подруги, с ней, родимую, коротать; от меня, говорили мне, даже запахом никогда им даже не пахло, и пьянеть не пьянел, в том смысле, что вообще ни в одном глазу, собутыльникам и коллегам — в изумление с оживлением; аж на следующую весну ко мне первый запой пожаловал, позабыв меня известить, ну хотя б телеграммой, — подкрался по накоплению; ну, и я, в упор его не признав, не встречались прежде, причём ни разу, сразу ухнул в него с головой на месяц, едва вырвался, сокрушённый, презираемый и униженный, едва выжил, но протрезвел, и прозрел в себе алкоголика, но запойного, слава богу, а не тихого, слава ангелам, а не то б тогда бы хана; а к запоям, не сразу, а раз за разом, через пень-колоду, приноровился, и давал себе передышки по полгода, а то и более, чтоб ваять свои сочинения, не забыть и про хлеб насущный; но оно случалось по всякому, и по пять, и по шесть раз в год; тем не менее, я прилачился. Тем не менее, верил верю, что возьму и преодолею я заразу эту несладкую, и настанет прекрасный день, когда хрень, такая-сякая! от меня наконец отстанет, прочь, проклятая, не вертайся! Ну и вот вам, любить и жаловать! Третий день запой не шевелится и не телится, словно сгинул. Словно не было никогда! Так о том же, блин, и мечтал! О том же? Ну, а то! Вот именно, что об этом! Так чему ж ты не рад, Южанин? Что так мулит тебя и бесит? Догадаешься? Не съюлишь? Не с руки тут сейчас, конечно, пораски-

нута над всем мозгами. Тут вопрос поставлен ребром. По стакану? С ответом медлить — так, неровен час, прослывёшь новым психом из городских. Но навскидку можно рискнуть догадаться, что же, сударь, вас так коробит. Где подвох затаился? В чем закавыка? Перво-наперво, что не сам. А тебе помогли, тебя не спросив. Не учтя твоих пожеланий. Вот Багира, неделя без году, со своими нам тут способствами, непонятно, как, по-алтайски, по-шамански, по-спецслужбистски. Ну и кто её, дуся, звал? Ну, а, может, и не она. А Баранов, маг-чародей, со своим всех насквозь и хлопком в ладоши, от которого звон в ушах, а на сердце искрится радость, повернул невиданный фокус и избавил всех от всего на свете: нас с женой друг от друга, её от отчаяния, и меня по ходу от рабства с водкой; не забыть сюда, что Багира тоже из *его* пантер, не из зоопарка, он, Баранов, друг боевой, приволок сюда Балаган и устроил тут балаган, *он* устроил, не Чарли Чаплин. Так что спутано всё, напутано. Как случилось, так получилось. Но меня спросить позабыли. Вот подвох где. Мне так не любо.

— По стакану!

Анжелика за обе щёки уплетала наши щедроты вперемежку с щедротами от Баранова. А Багира подкладывает успевала.

— Ты что, узел рубил, старик? — спросил Гарик, водки набулькав нам до краёв и придвинув стакан ко мне рукой твёрдой; тыщу лет меня знающий Гарик.

— А что?

— Да так, к слову. Всё подзапуталось?

— Мессинг, Гарик, ты, а не Яхта. Вот вам, девушки, с нами Мессинг.

Пробка хлопнула, и в фужере через край искрится и пенится Анжелике её мускатное.

— А вы знаете? — говорит Багира. — Всем скажу. И потом ещё. Между вами с Барановым, вы все трое, между вами такое сходство, что я просто вся в изумлении. Не по внешности, а иначе. И по внешности, если вдуматься. Вы как будто все трое братья. С телепатией на троих.

Что же в ней, тунику напялившей, в каблук запрыгнувшей, изменилось? Так не схватишь влёт. Но, пожалуй, цинизма прибавило.

— Да оставьте в покое вы укротителя! — сказал Гарик. — Они уехали. Скатертью им дорога. А мы налили. Видишь разницу? — это он Багире. И ко мне: — Ну так что за узел там? Не ответишь?

— Ну да, рублю.

— Разрубил?

— Вот сейчас и жахну.

Гарик только собрался содвинуть со мною кубки, как я всё ж потянуть решил, позабавиться.

— По другой, кстати, версии, мальчишки-девочки, ни фига Македонский не стал там мечом махать.

И со вздохом на все шесть тысяч Гарик свой до краёв опустил на стол, а не то ж, гляди, расплескаем.

— Что, опять Расёмон?

— Зачем? Покороче.

— А тебе не холодно?

— А тебе не жарко?

— А кстати! Да! Вы позволите? Я по-скромному.

Гарик выскочил в коридор и вернулся к нам с обнажённым торсом, а халат рукавами связал на поясе. Анжелика сказала ему, что ах!

— А тебе, Багирочка, тоже ах? Или как? Или ты воспитана на других картинках?

— Отчего же? Мне тоже ах. Ну, а, может быть, и не ах. Но, конечно, неотразимо!

— Правда, жарко, — сказал нам Гарик. — Вот уроды. Топят, как в поезде.

А Багира сказала вдруг Анжелике, ей сказала, да все услышали, что вообще навидалась всякого. Я так понял, что стала щупать новоприбывший в ней цинизм.

— Я дружила, Ликочка, с гандболистами. С олимпийской сборной, со всей командой. Лица, там, вот скажу тебе, просто все, как триста спартанцев.

— Нас не любят тут? — спросил Гарик.

— Что вы, что вы? Для равновесия. Чтоб от вас не спянуть. Да, Анжелика?

Анжелика, жуя, Багире кивнула, и про оргию ей бормочет, что, когда та, да, состоится, оргия, надо разум свой поберечь, конечно, как зеницу ока, мать, как зеницу. Рассмешила нас всех, голодная.

— Так и что там узел? Давай уже. И давай, полковник, без Куросавы.

— Так само собой. Водка греется. А нагреется, закипит. А потом ждать пока остынет.

— Ты вола, Иван, тянешь, да? Что за вечер чудной, а, братцы?

— Вольно, Гарик! Без Куросавы! Пускай сам сакэ своё подогретое.

Гарик только и покачал головой, мол, ему мой стих не смекнуть сегодня.

— Не рубил, говоришь? А тогда же как? Как решил ту головоломку? Дамы, милые, а вы поняли, об чём речь у нас? Вдруг зашла не к месту.

Анжелика с Багирой очаровательно изъявили свой интерес.

— В двух словах, — сказал я. — Так, чтоб в двух словах. Век четвёртый. До нашей эры. И осталась Фригия без правителя. И фригийцы бегом к оракулу, пусть подскажет, кого ж царём. И оракул втемяшил им, что пускай им в цари того, кого первым встретят, в повозке едущим, по дороге к храму Зевеса. И надыбался им такой. Оказался крестьянин Гордий. Став царём над фригийцами, Гордий, помимо прочего, воздал должное той повозке, из которой взошёл на трон. Он её водрузил во храме, а к ярму присобачил сложнейший узел. Не из жил тот узел, не из канатов, а, чтоб нам понимать, из кизилового он лыка. На секундочку. Ну, и стали там полагать, что кто справится с ним, распутает, этот Гордиев узел, станет тот правителем Азии.

Гарик дух перевёл, но вежливо. А девчонки слушали тихо.

— И вот в триста тридцать четвёртом Александр покорил фригийцев. И не стал распутывать, а рассёк то лыко. Вынул меч и хватъ по узлу. Поминай как звали. Это якобы знают все. Но бытует иное мнение. В этом смысле тут Расёмон.

— Ну, полковник, ты ж обещал!

— Айн-момент! По другим преданиям Александр не рассёк, а просёк и легко, без хамства, решил задачу. Просто вынул из дышла гестор. Узел сам себе распался. И свалился к его ногам.

— Гестор что? — потребовал Гарик.

— Шпилька, Гарик, в торце у дышла. Шпок! —
яремный ремень фиксирует.

Анжелика сказала:

— А Расёмон? Ты мне фильм рассказывал? Да,
Ванюша?

Схлопотала аплодисменты. А Багира сказала:

— Скажи мне, Гарик, как на духу, раз уж мы на
ты. Вот твой друг, да? Южанин Иван Александрович.
Он всегда так всех погружает в пучину знаний?
Самых разных, да? И без задней мысли? Просто так?
Потому что нравится? Потому что вкусно и распи-
рает? Или всё же ко мне тут подход особый? Меня
мнут и давят с особым умыслом. Чтобы я из глины
вдруг мыслью стала. Что мне скажешь?

— Скажу, что всех. Вот и мне тут гестор откуда
взялся? Ты, Багирочка, вправду дуся. Мои девоньки
дорогие, столько знать, сколько знает Ваня, нам не
надо ни боже ж мой. А нам надо его любить, с ним
дружить. И он просветит нас. Вот и тост пришёл. За
тебя, полковник! Поддержите, девоньки. Есть напёр-
сток? За Южанина! И до дна.

Подвернулся под руку тост что надо. За себя,
чтоб запой, блин, восстановить; чтоб вернулся ко
мне он, вражина, заново, ну, а я его победю! Я его уж
расколошмачу! В рог бараний согну! В порошок
сотру! И развею по ветру. наших знай! Попадался
вам, братцы, на ваших тропках идиот почище меня?
Мне встречались, конечно, разные, и не только,
скажу вам, в армии; к слову, с этим там сильно проще
— чем поближе туда, где пули, ну, такие, чтобы
летали, тем их меньше, кретинов, до изумления, а
ещё поближе, так вовсе нет, если были, то быстро
сплыли; ну и, значит, наоборот: чем подальше от

дела ратного, там балбесов любых калибров, знамо дело, хоть пруд пруди. Но не только ж в армии. Да, пришлось, судьбой не обижен, разных дурней видал на своём веку, да таких, что вам и не снилось, пробивался ж в Москве в писатели, там вот братия у кормушек — туши свечи, а по издательствам, по журналам да по газетам, киностудиям и редакциям, а по вузовским кафедрам, а повсюду, просто так, по улицам да просёлкам, по трамваям да по телегам — легион заумнейших дураков. Ни пером передать, ни словом. Но, сдаётся, я в чемпионы мечу и, сдаётся, с большим отрывом, как уж водится, не сдаваться ж. Вот сейчас всех и победу.

Я гранчак в длани крепко сжал и примерился, раззудил, как положено, дух бойцовский.

— За меня, значит? За меня!

Ну и выкушал, что в нём было; внятно влил в себя, как учили, как и сам давно научить могу, чтоб без спешки, глотком размеренным, будто звёзды на донышке генеральские, две участницы ритуала, чтоб не жали потом погоны. Я осилил стакан, красуясь в голубых лучах и янтарных, исходивших от чудных глаз. Опустил стакан опустевший, звёзды выплюнул на ладонь и приладил к себе на плечи.

— С новым званием, генерал?

Это Гарик, жуя осетрину, уточнить решил для порядку.

— Как теперь к тебе обращаться?

— Просто, Гарик. Мон генераль!

И меня вдруг так отпустило, накатила такая лёгкость... До чего же я был тяжёл! Ещё миг тому. Трудно верится. Но поверится. Вот он, старый добрый приём, самурайский фокус бессмертный: ты

умри перед боем, воин, а потом уже и сражайся, сколько влезет, и будь что будет. Получилось, вроде. Живём!

— Ну так всё-таки. Будет оргия? — Анжелика, уняв первый голод и запив фужером шампанского, размялась. — А не то как начну про травматологию, так уже и не соберёмся. Вот там мерзко. А холодрыга!

— Вот такие дела, полковник, — говорю я под осетрину. — Народ для разврата в сборе. Готов, понимай, шалить. Одобряешь? Или не в духе?

— Ну, полковник...

— Мон женераль!

— Ну, Иван! Ну что за дела? Дамы, милые, мы же хряпнули. Ну негоже путать одно с другим.

А Багира ему сказала:

— Что ты, Гарик, в меня уставился? Я вообще тут сбоку бантик. Это Лика у нас из травматологии. Целиком её инициатива.

— Да я всем, Багирочка, говорю. Не тебе одной. Что негоже под водку священнодействовать.

— Во даёшь! — сказала Багира. — Подыскал словечко!

— Да, вот это вокабулярий! — поддержала её Анжелика.

Ну и я за него был рад:

— Тоже стих поймал? Да? Пошлбó?

— А чего ж? Как к себе домой. Как христосик по жилкам да босичком! Говорил же, что протрезвеем. А теперь отвечаю девушкам. Это слово само нашлось. Потому что *что* есть соитие, как не таинство пред Творцом!

— Во хлебнули с тобой, полковник! Из тебя Цицерон полез.

— Ну, а что, не так?! Да ещё и *какое* таинство! Если правильно подходить. Мы ж по Тантру, а не в распутство. Понимаете, дорогие? А неправильно подойти, так, пожалте вам сразу — чистое блядство! Потому надо правильно. На хип-хап не надо. На хип-хап нельзя. Вы уж мне поверьте.

Анжелика подставила свой фужер, Гарик тут же его наполнил, а она сказала Багире:

— А ты тоже что же, мать, вдруг? Чего? Сбоку бантик! И всё такое. Неужели бы устранилась? Отдала б меня одинёшеньку на потеху таких вот двух ненасытных?

Возымели действие «ненасытные», снова всех нас развеселила. Как смогли, так и отсмеялись.

— Ты, выходит, Гаричек, зарубил нам оргию?

— Указав, заметь, причину веселую.

— Водку, что ли? Да вы ж не пьяные. Наломал всем пух. А меня не жалко?

— А ты сколько, милая, прогостишь тут?

— Ну, не знаю. Пока не выгонят.

— О! — воскликнул Гарик. — И я о том же.

— Понимать прикажешь, посул сулишь? Сладострастий? Грядущих завтра? Лишь бы только бы не сегодня?

— Не дерзи, юннатка! Посулами не страдаю. Уяснил лишь факт, что ещё увидимся.

— Почему юннатка?

— Так ты юна! И всюю охоча до испытаний. Натуральных. По естеству.

Тут уж все заржали, и с нами Гарик.

— Стих поймал! Ты погнал, Георгич! Ну, не в бровь, а в глаз! Про малышку нашу.

— Ты ж уже ж меня спрашивал, генераль!

— Что я спрашивал?

— Про стих, про Христа по жилкам.

— А теперь не спрашивал. Восклицаю и утверждаю!

— Ни фиги себе! Я не понял. Поработай над интонацией.

— Ну, а я, по-твоему, чем тут занят?

— Виноват! Не понял. Теперь вот понял. Ну так что, потрепемся наконец? Дорогие дамы и господин! Всем про всё обо всём на свете. Как давно же уже пора же.

Анжелика фужер протянула и сказала:

— Гаричек, погоди! Сам не гам, так зачем же других треножить? Может, мы тут не все, как ты, до такого блеска вот щепетильны. Может, все-таки соберётся кворум для оргии, не георгии. Как считаешь? Ты наливай. Надо б всё-таки нам с тобой разузнать про мнение каждого. А потом и решать, как быть. Как считаешь? Ты мне поможешь?

Гарик честно расхохотался. Он изрядно успел забыть с того лета, какая она вне правил.

— Ух ты ж, ё, неуёмная! И чего неймётся? Без меня нет кворума! Что тут спрашивать?

— Почему? А трое разве не кворум? Может, простенький дэ труа?¹² На слуху у всех? Так и что же? Не беда! Амуру втроём не страшны досужие пересуды. Разве нет? Не сами так говорили? Мне в два уха. Ещё тем летом. Обошлись тогда разговорами. Только

¹² L'amour de trois — (фр.) любовь втроём, кто не знает.

лишь. Пожалели дурочку. Подзабыли? Так вспоминайте.

— Смотри, Малый, нас в краску вгонят.

— Ну, не знаю, как вас, — сказала Багира. — С вас как с гуся вода. А меня так точно. Вот уже, наверное. Горят уши? Лика, горят?

Я сказал:

— Пунцовеешь ты от «Камю». По напёрстку да по напёрстку. Не морочь-ка нам, Дуся, головы. Мы себе заморочим сами.

— А смутились, да? — спросила Багира. — Ну скажите как есть. В самом деле же любопытно.

Анжелика сказала:

— Я что, смутила вас? Не поверю. Да быть не может!

— Почему не может? — спросила Багира. — Почему, Лика? Они ж не роботы.

Анжелика без промедленья:

— Ой не роботы! Человеки! Да такие, сама же видишь.

— Вижу, Лика. Как тут не видеть? Так чего ж, по твоим словам же, не смутиться таким мужчинам, когда повод вот, чтоб смутиться?

Анжелика думала с полсекунды.

— Ха! — сказала. — А дело в том, что артисты оба от Бога. Трудно даже вообразить! Вот увидишь. Такого Гамлета разыграют на ровном месте, не успеешь моргнуть и глазом. С ними, мать, нужен глаз да глаз.

— Ты хотел трепаться? — сказал я Гарику. — Трёп в разгаре. Чего не трепешься?

— Да куда ж тут вставить? Мон генераль!

— И добавь, увлекательно! — сказал я ему. — Ну когда б такое да про себя? Да из уст не злобных, а...

— А?

— А?

— А?

— ...а эротических.

Фух. Улыбнулся; улыбнулась; усмехнулась.

— Ну, и что с того, Ликочка, что артисты? Я согласна. Но что с того?

— А с того, мать, что облапошат.

— Это как?

— Это как же мы?

— Да, мартышка, ну-ка вытащи нас на солнышко!

— Это так. Смуются, да не покажут. Или вот, не смутившись, изобразят. Так тебе, мать, изобразят, что саму же вынудят утешать их! Не смущайтесь, дяденьки, это юность, это соки во мне ретивятся, а вообще я паинька и в десятом классе. И на вас не подам в милицию.

— Я смущён, — признаётся Гарик. — Да, не злобненько, но язвительно.

— Плакать хочется, — я сказал.

И Багира:

— А в самом деле, ей же было всего пятнадцать. Да? Шестнадцати ж, Лика, не было? Вы всерьёз предлагали ей с вами разом? А растлить не боялись? Она ж вам в дочери.

— Да никто ей не предлагал! — возмутился Гарик. — Что за нудотство!

— Нет, Багирочка. Гарик был комильфо. Они просто болтали о том, о сём. И замечу, в словах высоких. Таких слов, как теперь тут можем, тогда

просто не говорили. И болтали при мне про то, как оно у людей бывает. Когда вдруг случается почему-то. И не только в Париже, а и в Житомире.

— Не в Житомире, а в Крыжополе! Я там как-то был на картошке, — Гарик зычно изобразил Фантомаса хохот в два такта с четвертью. — На картошке и приключилось. На горе такой из картошки. В поле, ночью под звёздами. После целого дня раком по полю. Раком, в смысле, что по картошку. А потом на куче, ясно, в другом.

Мимолётная зарисовочка оживила нам тягомотину. И под это сквозь форточку мягко дунуло, и на Гарика снег просыпался. И растаял снежок на нём.

— Гарик, девушки, он скабрёзен по рождению, по призванию. Надо, девушки, в суть смотреть, чтоб увидеть суть его. Ренессансную. А не только огромный фаллос.

— Даже так? Так нам и того не видно.

Ей Багира на всякий случай:

— Да не надо, Лика. Поверим на слово.

— Ты чего, полковник? Пардон, генераль! Про себя наплёл, а прикрылся другом?

И Багира нам снова что-то про сходство, нам не знать ли, а ей в диковинку; Анжелика ж ей не дала себя сбить с волнующего вопроса. Так её он разволновал, что забыла допить фужер. И, призвав в свидетели Гарика, провела средь нас плебисцит. Предварив его нам признанием, что, конечно, в наш дэ труа, лишь бы только не спулились мы с базара, свой лямур она гарантирует; в дэ труа нам с неё с гарантией — колоссальный такой лямур; чтобы Гарик и не подумал, чтобы даже не заподозрил, что в

распутство мы и за похотью, а вон нет вам, гнусные домыслы, вот вам фигушки, мы — в осознанность, мы в поход за тонкими чувствами, мы — в свободу мы, мы — в лямур. Гарик чуть нам не прослезился. А Анжелика спросила каждого, стало быть, меня и Багиру, не спросила, а попросила, внятно, с чувством, без экзальтации, не отказывать в такой малости — подарить ей сегодня любовь втроём. Впопыхать, как вышло бы в другой раз, оно без толку; пустобрехство. В этот раз оно вышло вот как.

Вот как вышло на этот раз. С новоприбывшей лёгкостью всё мне в радость, всё в такой восторг беспричинный, что не требует убеждений. Всё само собой происходит, беспокоиться не извольте. And quiet flows the Nile,¹³ and quiet flows река Амур. Мы по Зее сейчас в Амур сплавимся. Уважая такие в себе параметры, я отшучиваться не стал; счёл возможным я изъясниться.

— Для начала ещё не вечер. Не гони коней, Анжелика.

— Ночь уже, — сказала она и вспомнила, что в прихожей уже говорила это. — С чего начали, там и топчемся?

— Дни короткие, — повторил я ей. — Тем не менее, мы все тут. И пока что не разбежались. Согласна, Джика?

Она кивнула, потрянув кудряшками.

— Уже хорошо. Поладили. Это раз. Теперь два. Мне твоя пропозиция, Анжелика, любо-дорого. И

¹³ And quiet flows the Nile — (англ.) и тихо катит воды Нил. Аналогия с английским названием романа «Тихий Дон» — And Quiet Flows the Don.

причин тут не перечесть. Я охочу нынче шестнадцать зайцев.

— Почему шестнадцать?

И Гарик вставил:

— Откуда столько?

— Двадцать пять устроит? А двадцать шесть?

Анжелика вздохнула.

— Понятно, Ваня. Как ты, Гаричек, говорил? Виноват, не понял, теперь вот понял? Хорошо сказал. Повтори ещё.

— Вот одна хотя б, — сказал я. — Одного вам зайца. У меня с Багирой срок испытательный. Безрас- судный эксперимент. Аж до боя в Кремле курантов. В Новый год. А у нас теперь на час позже. Так что наше правительство, братцы, Украины самостоятельной, самым первым своим декретом подарило Багире ещё часок. Но его всё равно ж не хватит. Если быть нерадивым. А радивым быть оно как? Это что значит быть радивым?

— Женераль, а мон, ты случаем не погнал? Я что, тоже такую пургу несущу?

— Если ты про башку, то я, блин, как стёк- лышко. В аккурат как ты нам наколдовал. Только ж мы тут как раз не совсем об ней. Нам башки одной в Тантре мало. Так что слушай. Не стоит перебивать.

Анжелика сказала:

— Это, Гаричек, Ваня нам всё затем, чтоб ска- зать мне нет и отправить спатки.

— Так нечестно, Джика. Мог отшутиться.

— Прости, Ваня. Скажи, что хочешь.

— Блин! Всего лишь хочу сказать, что мне кстати б как раз пришлось окунуть Багиру в таком Амуре. Каламбур такой. Да и ей бы кстати бы тоже

шанс проявить сноровку и выдержку. Что мы ценим больше всего? Само что? Обладание. И надёжность.

Анжелика вздохнула:

— И где же но?

— Да повсюду, Джика! Оно тут в воздухе.

— Ты про встал-не встал? Уж прости, Багира.

Так ты ж знаешь, встал!

— Да, конечно, встанет. Не в этом дело.

— У меня уже. Полчаса вот как, — сказал Гарик.

— И что с того?

— Такой вечер, Джика, он не такой. Понимаешь, момент не щёлкнул.

— Анжелика, ты меня тронула, — сказал Гарик, усы погладив. — Для тебя я скажу ещё раз. Для того, что ты предлагаешь, что тебе так сейчас в охотку, надо всякого столько в себе надыбать, чтоб не вышло ж не как не надо, что не надо даже и думать, чтоб сейчас. Послушай. Не тот кураж.

— Видишь, Лика? — сказала Багира. — Не пришлось мне даже тебе ответить. Всё решилось само собой.

Анжелика тряхнула кудряшками и, допив, фужер протянула.

— Ну вас к лешему! Болтуны вы.

— Это мы болтуны?! — я смотрел спектакль, где на сцене блистал двойник мой. — Ну, а как тебе такой, Джика, ракурс? Мы с полковником год не виделись. Не успели даже перетереть. И куда его прикажешь в твоём хотении? Просто нафиг выгнать на улицу?! Джике ль, видите ль, вдруг приспичило! Вот подайте ей дэ труа! А хо-хо тебе, Джикочка, не хуху? Доктор Джикель и мистер Хайд!

Образованные, смеются. Каламбур явился из ниоткуда. Ну оттуда, откуда всё.

Анжелика сказала сквозь смех и слёзы:

— Ну зачем на улицу? Пускай смотрит. Я не против. Я даже за! А вы против? Вы лицемеры? Ну скажи им, Гарик, тебе ж понравится?

Не успел ей ответить Гарик. Не успели и мы с Багирой. Анжелика из смеха в слёзы перепрыгнула кенгурёнком, зарыдала на всю катушку так, что просто вот ну его. Не слышал, как рыдает белуга, но наверное это так.

И, конечно же, в дверь звонят. И я даже знаю, кто к нам пожаловал. Вот уж пару минут, как знаю. Без напряжения взял да прочуял. Там в горах мои мной довольны б были.

И, конечно, Багира сказала:

— Ли́ка, Ликочка, ну не надо так, — и она погладила ей кудряшки.

Анжелика прижала ладонь Багиры к своей щеке. И так всхлинула, что не надо вам. А Багира сказала:

— Ли́ка, солнце моё, никто обижать не думал. Тут никто тебя не обидел. Говорили все про себя. Ну, не нужно же, ну, зачем же.

В дверь ещё раз звонят, не длинно, но долгенько. И Багира с вопросом:

— И снова, мальчики, Гамлет? В Багдаде, вы артисты, всё спокойно?

— Да, тихо что-то в блядском Эльсиноре, — заметил Гарик.

Ему Багира:

— Ну, зачем же так? Когда спокойно можно просто в датском. И ритму не в ущерб. А смысл понятен. Ты не находишь?

Снова в дверь звонят. На этот раз прерывисто и долго.

Багира въехала в спектакль на Росинанте. На Буцефале, уточнил нам Дар Событий. И он был прав. Осёдлан Буцефал. Багира въехала в нас всех на Буцефале.¹⁴

— Да, тишина звенит.

Вот каламбур!

— Как перед бурей. Я не угадала?

— Не каркай, Дуся. Может, обойдётся.

Ох не хотелось же вставать. Ох не хотелось.

— Тебя под воду сунуть, Анжелика? Облить её! Несчастную сиделку при обожаемом Кирюше раздолбае. Ему уход, а нам тут дэ труа? Облить в пять ведёр! После доложить!

Ну, вот, роздал двум дусям. Что теперь?

— Полковник, одолжи мне мой халат. Верну, как только.

Без второго слова полковник встал, распутал рукава и протянул мне мой халат с драконом. И Анжелика плакать перестала. А кто б не перестал, завидев это? Во всей красе Георгий Яхта в полный рост! Чего-чего, а самообладанья Анголе, ясен день, не занимать. Не будь трубой в поход я зван к дверям, ну непременно б меряться с ним стали б; он у него длинней на миллиметр.

— Зато мой толще. Ну, друзья, до встречи!

¹⁴ Росинант — конь Дон Кихота. Буцефал — конь Александра Македонского.

Упаковал себя в халат по ходу и в коридоре глянул на котёл. На нём натикало за десять аж под сорок. До полночи ещё час двадцать две. Что втиснется сюда за это время? И наконец себе «отлично» ставлю. За то, что никаких предположений я не имею нафиг на сей счёт. Что сможет втиснуться, тому, блин, и хвала.

Звонок умолк, ещё когда был в кухне и брал в аренду свой халат на время. И больше не звонит. И тишина. Я дверь открыл. Тут пусто. Никого.

— А вот запрю! И больше не открою.

К нам из-за левой створки, что закрыта, всегда на шпинделях, пока не возят мебель и не выносят гроб вперёд ногами, явилась Нинка ярким крупным планом; вплыла в экран и стала истуканом, неровно дышит и глаза блестят; румяна и бледна единым махом.

— Я разбудила?

— Нет, не разбудила.

— Ты не один?

— И даже не вдвоём.

— Уехала?

— Уехала.

— С концами?

— Похоже, что как будто навсегда.

— Она мне позвонила на работу. Но я пока не въехала. Расскажешь? Мне ж надо что-то маме говорить.

— А тёзка в рейсе? Ну так проходи.

— А я не помешаю?

— Помешаешь.

— ?

— Но это ж надо как-то пережить.

— ?!

— Не бегать же всю жизнь нам друг от друга.

— Ты разлюбил?

— Давно. Вот знать, кого бы. Лидок пока вот не успел. Но разлюблю.

— Меня?

— Тебя? Так заходи, увидим.

Она шагнула через порог. И у вешалки спросила:

— Я таки да в неровен час?

— Ты таки да. В неровен час.

— А говорят так?

— Вот уже. Сама же так сказала.

— А что ты трубку не берёшь? Бухаешь?

— И на какой вопрос мне отвечать?

— Ну, на второй не отвечай. Прошу прощенья.

— Да не за что. Мы ж, Ниночка, свои.

— Свои. Не знаю, может, я пойду?

— Да делай, как желаешь, дорогая. Сама пришла, сама и выметайся.

И Нинка, чистая душа, мне улыбнулась. И я вдохнул. И мне пришлось. И я вдохнул.

— Люблю тебя. Ну что мне, Ваня, делать?

— Как что? Страдать. Ну как в том анекдоте.

— Ну не влюбляй, прошу. Ну прогони!

Любой каприз — дверь снова распахнул и снял дублёнку с вешалки.

— Ну? Welcome.

Нинка шагнула ко мне, положила ладони мне на затылок, наклонила к себе и поцеловала коротко в губы.

— А то ж потом уж, верно, не дадут? Здравствуй.

— Привет.

Я запер дверь и вернул дублёнку на вешалку. И рад пока был только одному, что Нинка с августа с лица нам подурнела. И пожалеть успел, *как* ей досталось. И всё ж признал, что для меня так проще. Чтоб удержать себя. Не разметаться. На кубики, как на полотнах Пабло.

— Тут что стряслось, Вань? Герника?

Ну вот, все телепаты, блин, в кого ни кинь.

— Нинок! Ты изучала живопись в изгнани? Нет, Герника сюда не добралась. Попроще вышло. Мы же не кубисты.

— Да? Грохнул, Ваня, скандал наконец?

— Обошлось. А сегодня компашка тут гонорова.¹⁵ Подсказка тебе. Каждый тут сегодня, Нинка, сам, Ниночка, за себя. Ферштейн, *ma chère*? Не попадайся.

— А кто? А много народу? По вешалке — так вроде не весь город пока прослышал.

— Пока не весь. А скажу, кто, так ты убежишь.

— Да я уже поняла.

Нинка вздохнула тяжело, но решительно.

— Да, весело! — вздохнула ещё раз. — А пускай.

Тоже, скажу тебе, засиделась.

— В гинекологах или в девках?

— Да по-всякому. Идём? Веди!

¹⁵ Южанин любит этот анекдотец от Тереха Величайшего, на полупольском: компания у нас пьенкна, алэ нэ дужэ гонорóва — пан бургомистр, пан почтмайстер, пан ксёндз и две курвы. Такэ ось. Частенько Тереха донимают, почему две, а Величайший ответы варьирует: то у него ещё прибежит, мол, замешкалась; то у него и двух на всё про всё, Ваня, хватит; а сам, говорит, что когда услышал, так их там и вовсе была одна; от себя уже додал, мэтр, вторую — для благолепия.

В коридоре сразу же в спину мне:
— Будто сто веков сюда не ступала.
— Ты романтик, Нинка. Не попадайся.
Нинка сжала мне локоть.
— Ваня. Я не девочка для битья.

Честно, было мне любопытно. Понимал же, что Гарик слышит, кто пожаловал; а не слышал, так просканировал. У них с Нинкой большой роман был в восемь'сят пятом, едва свадьбой не завершился. Он любил жениться не меньше, чем покорный слуга ваш. До недавнего времени нравилось нам жениться. У них с Нинкой там сорвалось. По причинам неустановленным. Пробежала меж ними кошка. И с тех пор под ногами путалась. Ну, короче, вместе их к нам не звали. И во всей кутерьме так вышло, что про нашу с Нинкой пластинку с нашим танго ошеломительным, пылким, знойным, прерванным влёт, рассказать мы ему забыли. К слову как-то вот не пришлось. Любопытно сейчас другое: уяснив, кто сюда шагает, поменяет ли он прикид? Устоит (усидит) в костюме Адама? Или рыпнулся всё ж за шмотками? Десять раз бы успел в них влезть, пока с Нинкой в прихожей мы время мяти. Любопытно же в самом деле! И ещё смутила мыслишка вдруг — скользкой ящеркой промелькнула, не схватил, только хвост оставила: будь Баранов на месте Гарика, в этом случае, да в любом, я ни в чем бы не сомневался; что б ни сделал он, выйдет правильно... Получается, что из всех, кого знаю, Ярик единственный, как по мне, кто вскарабкался раньше нас на вершину по имени Безупречность и уселся прочно там, как на троне, ну, а мы одесную, стало быть, Репа, Гарик и со товарищи, не хватает каждому одной пуговки, или двух, да и то

неплохо — одесную же, не ошую, если кто ещё понимает.

— Что, неловко перед товарищем? — Дар Событий, он тут как тут, из-под тусклой лампочки вопрошает. — Подвигает один друг другого друга?

— Не бойсь, — говорю. — Прорвёмся. Тебе ль не знать? Не бросает друзей Южанин.

— Что, Ванюха, из боя, значит, товарища, значит, вытащить, оно проще, глядим, чем потом себя из пучины кусючих сомнений всяких?

— Не бойсь, Даруша. Сдюжим и в этот раз.

Он сказал, что во мне и не сомневался; хорошо б, сказал, чтоб, значит, и я в себе не того.

Вот такой анабасис по коридору.

Мы до кухни дотопали, мы вошли. Оказалось, Гарик оделся всё-таки. Он напялил пробковый шлем. На башку, не куда-нибудь. Тут валялся на холодильнике. Мы играли с Санькой в охотников на большую дичь. И когда это? Да пять дней тому. Цирк уехал. И с ним сафари. На Алтае теперь будут бить слонов. А теперь тут другие джунгли. Гадам буду, а какаду себе раздобуду. Не хочу я, блин, больше без какаду.

Сказал зычно. В халате меня ещё тут не видели, да и зычность такую прежде от меня слышал только Гарик. Сказал зычно:

— Дамы и господа! Позвольте. Нина Смолихина! Гинеколог. Сестра Лидочки. Мой большущий друг.

Когда входит в комнату дама, то мужчины должны вставать. Кто не знает! И Гарик знал. Он поднялся во всей красе, затянул ремешок шлема под подбородком и приветствовал Нинку сперва кивком.

Пригодилась ему подпруга — шлем остался на голове. И сказал радушно:

— Ну вот так встреча! Сто лет не виделись.

Гарик чмокнул Ниночке ручку, Гарик чмокнул Ниночку в щёчку; взял за плечи и отпустил. И придвинул ей стул.

— Прощу!

Положила Нинка ладони на спинку стула и пока осталась стоять.

— У тебя, Георгий, была эрекция? Или только как раз начало? Неужели, что на меня?

И вернула ему улыбку. Не Джоконда, но запорожцы. С полотна, где письмо султану. Кто не знает, Джоконда вот:



А вот это вот запорожцы:



Справа в белой папаше в жёлтых подпалинах — тот и есть Нинок. Лишь усы долой. А не нравится, так гадайте сами. А чтоб время зря не терять, нахлобучьте папаху на Мону Лизу и добавьте энтузиазма. Так она ему улыбнулась, наша Нинка нашему Гарику.

Анжелика сказала:

— А вы меня помните? Дорогая Нина Ивановна.

— Анжелика, тебя же забудешь разве?

Улыбнулась Нинка и ей. Ей уже по-борови-ковски. Ну, подстать портрету вот этому:



Сильно схожа с ним Анжелика.

— Как же можно тебя забыть? Расцвела ты, похорошела. Ещё больше сходства с Нарышкиной. Правда, Ваня? С портретом, что у тебя.

— Спасибочки, Ниночка дорогая Ивановна. А я тут реву. Весь раскрас сошёл.

— Пошто ж так вы тут с бедной девушкой? Дядька в шлеме перепугал?

— Нина, это Багира Анзоровна. Дуся, это Нина Смолихина.

Разглядели друг дружку, не постеснялись. Нинка тоже в наряде при декольте. У неё красивая грудь. Да и всё при ней. И осунувшаяся мордашка, если честно, её не портит. Присмотреться, так шику ей придаёт. Каблуков на ней нет, сапоги в прихожей, но зато она в сабо в бархате с бисером в тон чулкам и яркому платью, желток с корицей. Сабо тут живут с того времени, как мы с Нинкой на пару, и с Санькой, Лидку тут, с ног сбиваясь, выхаживали в шесть рук.

— Вы тоже из Кишинёва? Вам портрет уже подобрали? Самый красивый.

— Увы, нет, — сказала Багира.

Анжелика ей на ту часть «увы», что касалась её Молдавии, сказала: «Спасибо, мать».

Я вступился.

— С портретом просто. Иллюстрация к сказкам Киплинга.

— Он находит в вас сходство с Маугли?

Улыбнулись, кто как. А Багира ответила:

— Я не знаю, Нина. Не говорил.

— А хотите, сейчас и спросим?

— Хватит, Нина. Садись давай. Потом спросим. Что будешь пить?

— А давайте я рядом с Ваней. Можно, Вань? На правах подруги. Как сказал ты? Огромный друг? Вы не против, Багира? Вы меняпустите? Ну хотя бы на пять минут. Для разгона. А то ж я пока не въехала в что да как. От греха подальше поближе к Ване.

И она улыбнулась Гарику по-казацки, как султану тому турецкому.

Тектонические подвижки, хоть недолго, но основательно. Анжелика переместилась на пустой стул для Нинки, поближе к Гарику, уступив свой Багире, а та свой Нинке; переставили все тарелки, предложили Ниночке угощений. Только все наконец расселись, как я сказал, приборёг для Нинки, да и для всех, но вот ей особо:

— Ну, вообще-то одёжку я брал на время. Чтоб тебе при параде парадный вход отворить.

Я поднялся, покинул халат неспешно, протянул его Гарику со словами:

— Держи, полковник. Хорош тулупчик. Возвращаю, как обещал.

Гарик тоже не торопился. Он поднялся, принял халат, оглядел его, как впервые.

— Не испортил вещь? Не проделал дырок?

— Обижает, дядя. Какое там! Ни в тулуп не наделал, ни дырок в нём.

— Да, в ударе! — сказала Нинка. — Ваня, ты, понять не могу. Первый день? Или две недели?

Анжелика отозвалась:

— Нет! Не пьяные, Ниночка, они ж трезвые. Это стёб такой. На кураж не тянет, а по приколу. Понимаете? Не сердитесь.

— Моя милая! И не думала. Мне-то что? Я пришла, ушла. Я вообще, спасибо, не выгнали. Тут, конечно, своя волна. Правда, девочки? Да, Багира? Я её, может быть, словлю. Если прежде не выметусь восвоюсь.

Гарик, с ними одновременно, вперемешку с Нинкой и Анжеликой, говорил нам вот что:

— О! А кстати! Про две недели. Уже битый час, генераль, во рту же ни капли. Если ты, конечно, не втихаря! Это ж как же? Надо б исправить. Как считаешь? Потянешь соточку? А халат в рукава? Или с голым торсом? А, девчонки? Как надевать? Или пофиг? Все же свои.

Говорил он это не торопясь, нараспев и с обертонами; и халат вертел на все стороны, да и сам выступал в разных ракурсах, демонстрируя всем, кто случился тут, что себе он, Гарик, никак не в тягость. Потому его кода «а пофиг, тут все свои» слилась с Нинкиной «выметусь восвоюсь», и в хорошей опере им бы и повторить, да не раз, а дважды, а то и трижды, ну, а тут сгодилось и так, переключкой «а пофиг — выметусь» и «свои все» и «восвоюсь»... Вот такое нам тутти на ровном месте. И совсем, доложу, нехило. Мог бы сразу и Лидку вспомнить, Лидку-Златку, и наши с ней все «Февронии»; я и вспомнил, чего ж юлить, как разучивали либретто в наших с ней постановках на шкуре и где угодно; был там ей и Бедем я с Бурундаем, и Поярком с княжичем, и Гришкою Кутерьмой, а то мог и татарским скопищем, в череду и басом по-богатырски; шли на дерзкие допущения мы со Златкой в том постижении нами образа чистой девы на её пути в град небесный, и трудам нашим не было на том поприще ни конца, ни

краю. Да, конечно, вспомнил, но больно себе не сделал. А вернее, больно не сделалось; если там и чего, то подавно не так уже, как могло бы. Говорю ж, хорошо пошло!

Я вернулся к себе на стул. Гарик тоже сел в халате по пояс, рукава на узел. По законам искусства оперы после тутти ждать сюда соло. Чья же ария? Так увидим.

Гарик нам с ним набулькал по полстакана.

— Или как, генераль? Опять до краёв?

— Это вряд ли. Так в самый раз.

Анжелика сказала, что ей довольно, и себе испросила чаю, а Нинка рюмку себе под водку, сообщив нам обычную свою присказку, что они, гинекологи, дамы тёртые и что *veritas* не *in vino*, а что *veritas* вся *in spiritus*, а вот *sanitas*, да, *in aqua*;¹⁶ но сейчас совсем не об этом.

— Мы же тут сегодня за *вэритас*? Как Ванюша любит сказать. За правдой движем? Да, Ваня? Тут спору нету? Как обычно? В поход за правдой?

— С одним, Ниночка, уточнением.

— Интересно! — сказала Нинка.

И Багира с ней согласилась, вроде, как ни с того ни с сего. Согласилась и Анжелика. Мне напомнило это строй, где расчёт не на то, кто второй, кто первый, а приказ, чтоб кивнуть башкой друг за другом, кому тоже вот интересно вдруг.

— А тебе, полковник? Не интересно?

— Ещё как! — сказал Гарик, мой верный Гарик; так и бог с ним, с тем миллиметром.

¹⁶ *In vino veritas, in aqua sanitas* — (лат.) Истина — в вине, здоровье — в воде. Автором является Плиний Старший.

— Между прочим, Нинка, моё уточнение это плод упорнейших размышлений. Ими я тут с двадцать второго не на шутку ломал башку.

— Так тем более интересно.

— Мы тут, Нинка, в поход за чувствами.

— Это как?

— Это так, что надо б отшелушить свои чувства от умозрений. И признать, прознать, что ж на самом деле. И его прочувствовать без прокладок. Остальное — прочь! Что насочинялось под давлением обстоятельств, по козням общества и по прихоти собственного ума, его прочь, Ниночка, и долой! И пускай не вертается. Нафиг нужно.

— Ну всё! Приехали. Мне ль тягаться с тобой, Ванюша!

— Да никто и не предлагает. Разве что раздевайся и потягаемся.

— Ты всерьёз?

— А не видно? Пока шучу. И пока запомним, все, блин, и каждый, мы запомним, Нинка, и ты не зевай. Мы охотимся здесь за чувствами. Настоящими, а не дутыми. Ну, во всяком случае, я с Багирой. Тут охота! Ну, а вы припёрлись к нам без звонка.

— Почему? Я долго звонила, — сказала Нинка, в шутку, ясно, и улыбнулась; получилось однако почти всерьёз.

Анжелика сказала:

— И я, пацаны, звонила. Оба раза. А разве нет?

Её шутка звучит шутейней, чем Нинкина; интонацией превзошла, пятикурсница филологии романо-германской. Поддержу обеих, не погнушаюсь:

— Так не в дверь же надо, а в телефон.

Мне на мой телефон, что выключен, всё ж пенять не удумали, промолчали, чтоб, зная, общий, слабенький юмор вдруг так сдуру не затоптать.

— Ну, за чувствами, так за чувствами, — вздохнула Нинка.

Так вздохнула, что Гарик не удержался.

— Ну вот это выдох, я понимаю! Все четыре тыщи, Нинок, и пятьсот добавь. Полных кубиков. В отряд принята!

Она тише вздохнула, она сказала:

— Наохотим чувства, а там нам и взрיתас? Да, Ванюша? Так поняла?

Гарик снова не удержался.

— Не тяни вола, Нинок, по латыни знаешь? Не тянитус волус да за мошонкус. Рюмка ж греется. Не пуста же. Что за тост?

Нинка вздох нам, и Нинка тост нам.

— Ваня, миленький, друг прекрасный, я не знаю, Бог не накажет, хочу верить, за то, что сейчас скажу. Я хочу поднять эту рюмку за то, что ты наконец свободен. Не поймите меня неправильно. Я с таким финалом этой истории от души поздравить тебя хочу. Хоть сестрёнка моя, но что тут поделать. Подалась наконец, слава Богу, девочки! Улыбнулась тебе наконец удача. Вот увидишь, Ваня, что я права. Отстрадается, и увидишь. Уже видишь? Наполовину? Привалило тебе, друг, счастья. На самосвале. Уж не знаю, чьими молитвами. Что я вру?! Да, конечно, знаю! Заслужил ты его, как никто другой! Я таких, как ты, Ваня, повторюсь, нигде не встречала. Самый лучший, самый честный, самый добрый, самый верный. Самый умный. Самый красивый. Правда,

девочки? Не в обиду тебе, Георгий. За тебя, Ваня! Со счастливым тебя избавлением!

Со мной чокнулись все. Я выпил. И не стал ни о чём тужить. В переделках жить — не кручинну быть. А задвинуть здравицу Ниночка умудрилась, полагать надо, что от души, а не всё поперёк Георгича. Мне за этот безумный год столько разных людей признались, что им прежде таких, как я, почему-то встретить не доводилось, что от этих слов я уже зверею, но от Нинки, чистой души, вот принять изволь за монету чистую. Как отец мне любит говаривать, в этом деле много нюансов. Ну и ладно, а нам-то что. Мы же зрители пока всё ещё. Или как? Да к чертям подробности.

— Ну спасибо, Ниночка. Принято. Облачатся ж однако, даже по случаю, пока всё-таки, друг, не стану. Даже, Ниночка, для тебя. Не тот стих пока. Не тот город Миргород.

— Ну ты выбрал, Ваня, тоже, перед кем расшаркаться!

И мне видно, чего ей стоило не продолжить мысль, пришпоренную рюмахой. Нинка-Ниночка, верный друг, человек моральных устоев, да разложенных по шкатулочкам, вот едва не ляпнула Гарику, что меня навидалась всякого, и не только же навидалась, а ещё и отведала-переведала и признала деликатесом, так, чтоб Гарик не больно-то про себя; ни словца об этом не вымолвила, обошлась устойчивой присказкой.

— Мы же, девочки, гинекологи. Нам без разницы, что на ком.

— Правда, топят, как в паровозе, — сказал Гарик.

— Ты к чему? — сказала Нинка. — Чтобы я чего не подумала? Так а то я не знаю вас!

— Ну и как мы тебе? — сказал Гарик. — Раз уж знаешь. Обоих нас.

Так-то вот. Говорю ж, телепаты, в кого ни кинь. Досложил себе Гарик из взглядов пазл, или так забросил, навскидку. Но скорее, что досложил. Посмотрел он в глаза мне, а я ему, но в моих он прочесть смог одну Багиру. Недомолвок прежде меж нами с ним я, пожалуй что, не упомяну. Вот, пожалуй, что Нинка первая. Но, конечно, на полновесную недомолвку тут не потянет. Потому что само ж замылилось, перестройка, ГКЧП... Да и кто давно ему Нинка? Да и он кто давно Гекубе?¹⁷

— *Вы* как мне?! Не стоит вопрос. Это я вам как? Ворвалась на голову. Наломала вам сабантуй?

Анжелика сказала:

— А можно, Ниночка, мы на ты? Ничего вы не наломали. Ну скажите ж ей, господа! Мы ж как раз и не знали, что дальше делать. Втолковали мне, что я дурочка. Тут как раз вот и вы пришли.

Нинка рюмку ещё махнула, положила мне руку на руку, ей Багира про Балаган, про комедию ей дель арте, Анжелика снова мускатного, всё никак бутылка не опустеет, Гарик мне про Гонконг, куда всё ж успел,

¹⁷ What's Hecuba to him, or he to Hecuba... — Что он Гекубе? Что ему Гекуба? — крылатая фраза из «Гамлета». Принц это восклицает впечатлённый искусством перевоплощения актёра и его способностью переживать события, лично его не затрагивающие. А тот прочёл Энея монолог, живописующий страдания Гекубы, жены убитого троянского царя. Иносказательно фраза используется как в отношении человека, безразличного к чему-либо или кому-либо, так и по отношению к тому, кто вмешивается в не касающееся его дело.

пока тот ещё не китайский, и куда непременно и мне б, просто, чтоб самому увидеть; Нинка мне: когда в кругосветку? я в ответ: полагаю, в мае; Анжелика Гарику, чтобы выслушал, *что* ей так далось вдруг то дэ труа; и таки привлекла внимание, кишинёвка, не только Гарика; на себя стянув одеяльце, объявила после мускатного, что желает всё ж объяснить, чтоб не думали, что ей блажь, в чём причина такой настырности, что она тут нам проявила по вопросу лямура втроём и более...

— Интересно! — сказала Нинка. — Как нескучно у вас тут всё-таки. Не жалею, что не ушла.

— Вот выходит, полковник, — сказал я Гарику, — что вокруг в наших людях цинизм крепчает. По-здоровому, разумеется.

— Это, мон женераль, к добру.

Анжелика ж не сбилась, она продолжила.

— Я хочу, чтоб меня вы все-таки поняли. Хоть не любите Вознесенского.

— И причём тут?

— А не причём.

И она нам, как на духу, изложила такой расклад: у неё в этот год не заладилось, всё, что раньше сходило с рук, перестало ей с рук сходить; кому верила, разуверилась, во что верила, разуверилась, может, книжек перечитала, может статья, что цифра двадцать оказалась такой поворотной, гороскоп же не звук пустой, ей там кратность пяти прописана, подоспела, значит, пора отлипаться от поналипшего, только вышло не отлипаться, клей не клей уже, а цемент, и пришлось выдираться, как из бетона, отдирать себя с мясом, с кровью, по частям, да и как

получится, сопли-вопли и всё такое, и притом не факт ещё вовсе, что в окошко не сиганешь...

— Анжелика! — вздыхает Нинка. — Моя милая! Ты поэт. А поэтам ещё не слаще.

...а Кирюши нет рядом, его забрили, хоть и служит в комендатуре в Кишинёве, конечно, писарем, но однако ж без увольнительных, потому как мальчик домашний, и в армейцах он нерадив...

— Ну нашла, на кого рассчитывать, — сообщил я всем своё мнение.

И Багира мне улыбнулась.

...и она, Анжелика, ища опоры в своих поисках новых смыслов, разумеется, втрескалась по уши в кишинёвского криминала, вы слыхали, конечно, Рэмбо, не могли же вы не слыхать...

— Ну вот разве что, мать, лишь тебе прости-тельно. Ты ж сюда всё ж не близкий путь. Да и то сказать, и у вас там тоже его знать могут.

— Анжелика! Ты что, Сильвестра затащила в койку Сталлоне?!

— Не смешно, Гарик. Вот ты увидишь.

...у него Заремба фамилия, так что ясно, что погоняло отыскалось само собой...

— Чисто Репа! — сказал мне Гарик. — Ну скажи, не одно и то же? Репин Репа, Заремба Рэмбо.

— А что? Простенько и со вкусом. Нам с тобой и того бы проще. Яхта — Яхта. Южанин — уже молчу.

— Ты и ходишь у них в Южанинах.

— Чаще в Югах. Но только, Гарик, я давно нигде не хожу.

— Опуская частности? — спросила Багира.

— Ну куда ты, Дуся? Неправильно поняла.

— А об этом вот поподробней! — сказал Гарик.
— Колись, Багирочка. Что наш Юг опять учудил?

— Ничего, — сказал я. — Да пошастал малость в новом прикиде. Для гостей. Дорогих гостей.

— Я не видел?

— Ещё не видел. Давно не виделись.

— А в прикиде две кобуры?

— А вот нет. Покажу, проверишь.

— Так уже давай.

— А вот нет пока. Говорю ж, не тот пока город Миргород.

— А Хорол-речка?

— И Турунчук.

— Ясно, — Гарик вздохнул. — Они, Ниночка, всю дорогу, целый вечер меня интригуют тут. С тобой тоже так, когда сюда ходишь?

— Не хожу, Георгий. Давно уже, с год, не была тут.

— Что так?! Поцапалась с Лидкой? С тобой, Иван? От любви до неприязни, как мы знаем, адын бзик! Ну уже колитесь давайте хоть кто-нибудь.

— Баста, Гарик. Слушаем Анжелику. Имей к девушке сострадание.

Анжелика сказала ни грустно, ни весело:

— А ты, Иван Александрыч с Георгичем, вы меня, не бойтесь, вы не собьёте. Я решилась, и я расскажу, как есть. И взову к вашей милости. Вот увидите.

— Ты ж на службе, Гарик, — сказал я Гарику. — Мы дневальные, нам тут исповедь. Почитай устав. Вот сиди, блин, давай и слушай. А то как потом индულгенцию, если даже не внял за что?

— Да, братела, — сказал мне Гарик. — А не стал ты, часом, лукавым? Пока я деньгу колотил.

Я вздохнул, а Багира мне улыбнулась, а я улыбнулся ей.

— Что сказать? Надо думать. Ты третий, кто говоришь.

— Даже так?! И за кем я буду?

— Репа, Гарик, и вот Багира.

— Репа?! Тут побывал и Репа?! Нет, ну точно, что жучка сдохла. Ну лады, мои люди хорошие. Баста так баста. Наберусь терпения. А тебе, Анжелика, зато шампанского!

...но не только он Рэмбо из-за фамилии, а он Рэмбо, поскольку Рэмбо, потому что просто Тарзан, вы б видели...

— Вот и звали б его Тарзаном, — сказал Гарик, не удержался. — Видишь, Юг, опять же один в один. У нас Репа, девушки, есть. Слыхали? Не могли же не слышать, правильно? Так он тоже, блин, Самурай! Самурай самураем. Один в один. А все кличут Репой. Такая недолга. Потому что Репин. Не повезло.

Ну, а мне задушевно, и, как по мне, на мой вкус, так Репа красивше будет.

— Чем Тарзан?! — не поверил Гарик.

— Чем Рэмбо, Гарик. Зачем Тарзан?

Анжелика сказала:

— Вообще он Вася.

...вы б его только видели; сперва он, многоопытный, разумеется, положил глаз в театре на Анжелику, да, представьте, был театрал, и театр, где свела судьба, был в Москве, а не в Кишинёве, театр Вахтангова, на спектакле Петра Фоменко «Государь ты наш, батюшка», такой вот гротеск с заворотом

мозга, сперва он, сам Рэмбо, души в ней не чаять стал, а потом и она в него по уши; и открылся ей новый мир, о котором и не гадала, хоть слышала, но не гадала, закружилась сказка волшебная, как в раю, где ни в чем недостатка нет, захоти только, и сразу вот оно; за полгода Рэмбо свозил её на Бали и Мальдивы, в Сингапур свозил и в Америку, говорить уже не приходится про Европы, да про Стамбулы; ну, учёба, понятно, побоку, академ взяла, пятый курс никуда не денется, вот зимой опять на четвёртый, второй семестр; и поставлено дело у Рэмбо так, что она его дел не видит — и не слышит, и не гадает, а живёт с ним действительно, как в Раю; сына хочет он от неё, и она для него готова; будут мальчики хороши собой и умны, все такие, как Рэмбо и Анжелика; у такого папы мужчины вырастут, всё подспорье — богатыри, укрепят королю империю; а для маменьки обожаемой нашей паиньки Анжелики — с дочкой чистый кошмар творится: дочка спуталась сдуру с гангстером, а тому ещё и полтинник, две семьи за спиной и детишек выводок; да дочурки, мам; так и что с того?! пошла маме наперекор, поперёк материнской воли, взбунтовалась впервые в жизни, расскандалилась с мамой вдрызг; больше к маме мы ни ногой, будем жить с обожаемым Рэмбо во дворце из слоновой кости, будем жить-поживать и детей наживать, и не бедствовать — путешествовать, и в театр ходить, непременно, на все премьеры, без театра ж оно куда? ну короче, чтоб покороче, застрелили Рэмбо при ней на улице в конце августа, после ГКЧП, и не надо нам её спрашивать, это связано или нет, ясен день, что козлу понятно; а её чего тот не пристрелил, так о том гадать тоже без

толку, глянул ей в глаза по-ужасному, то ли волком, то ли удавом, улыбнулся и сел в машину, откуда вышел, и машина ших так и укатила, будто не было, а она, Анжелика, нюхнувши пороху, — таки да нюхнувши, что аж в горлянку этот запах и из ноздрей, королева без короля, ну ещё с королём, но тот очень мёртвый, — там осталась рыдать над Рэмбо, вся в крови и его мозгах, и на оба уха оглошшая от пальбы той, от этих выстрелов...

Ну ни дать, ни взять Джеки Кеннеди. Так подумали мы на пару с Гариком и кивнули даже друг другу.

...ну и рухнуло так всё в один тот миг, что не надо вам и рассказывать, и такой беззащитной, как после этого, Анжелика себя не знала; и в миру, и в сердце, и в голове, всюду чудилась уязвимость — от любой пушинки, от дуновения; и пришлось воротиться к маменьке, ну, а там и слегла в депрессию, да такую, что еле выползла, чуть не спятила, уж поверьте...

— Да не надо нас уговаривать, — говорит Анжелике Ниночка. — Мы такую с Ваней депрессию тут на Лидочке претерпели, что вот именно всё, как ты говоришь. Едва выползла, чуть не спятила. Вот уж знаем не понаслышке.

Нашей Ниночке спиритус от Смирнова придаёт миловиднейшую картавость, потому «претерпели на Лидочке мы депрессию» просто музыка да и только, даже смысл ни к чему тут — услада слуха.

— Провалилась Лидочка дней нам сто.. На диване. Да, Ваня? Личиком в стенку.

Анжелика ей:

— Так и я всю осень. Эскулапы, психологи, депрессанты. Ну, в смысле, анти. Ну вы же поняли.

— В передрыгу, — вздыхает Нинка. — Угодила. Не позавидуешь.

...в октябре ДМБ, Кирюша к Анжелике со всех сапог, и уже ни на шаг, а днюет тут и ночует, оголтелый от них уход, оголтелейшая забота, от Кирюши с маменькой Анжеликиной, та, заметим, цветёт и пахнет, разлад с доченькой канул в Лету, потому как всё ж обошлось, а поставить на ноги, мы ж поставим...

— Она так, представляете, и сказала мне. Слава Богу, доченька! Обошлось...

Ну и тут нам сразу же с Гариком вся картинка как на ладони: это ж ясно как божий день, и к гадалке ходить не надо, кто того нам Рэмбу-Зарембу заказал, не моргнув и глазом; никакой не ГК вам и не ЧП, ясно ж — маменька, а то кто же, да в преступном с Кирюшей сговоре, у того ж теперь связи в комендатуре; укондохали скромно, но не по-тихому, и недёшево, но сердито, два таких себе тихих бургера, вот нелепица, бургер с бургершей укондохали короля. Криминального. Так тем более. Вот нелепица ж! Но однако же. Мы разок лишь с Гариком обменялись взглядом, и теперь уже в стол глаза, в мой меандр, что, быть может, выручит, а не то нас наружу вот-вот прорвёт в хохот, значит, без удержу до упаду. А за нами такое водится. Не хотелось бы девушку обижать. Не хотелось бездушными показаться. Что поделать, солдат, всё давно ты знаешь: не бывает с войны возврата.

— А вы что, мальчики? Вы чего? Не пошло со мной? Я внесла сумятицу?

— Да не надо, Ниночка, — говорит Багира. — Не трогайте. Они плачут, как получается.

Вот и всё. Плотину прорвало. Мы сипим, как астматики в марш-броске, не вдохнуть, один только выдох, и сложиться бы пополам, потому как живот норовит к хребту и залипнуть там со спиной в обнимку, ну и слёзы из глаз в четыре ручья, да четырежды по четыре, сами ж видите, что рыдаем, не врёт Дуся, не соврала. Только вдох наконец проделали, как опять на выдох и пополам.

Анжелика Ниночке говорит:

— А вы зря тушуетесь, Ниночка. Я сама такая. Невпопад смеюсь сплошь и рядом. Просто сладу нет.

— А я, милая, не тушуюсь. Просто думала, наломала. Заявилась же невтопад. Просто думала, поплохело им. Вот и всё, моя милая. Вот и всё.

— Да и в самом деле, право, смешно. Этот дикий ракурс моей маман, в каком видит она событие. Хоть потоп, хоть вам, люди, что, лишь бы доця не за бандита. Так же всё ей хоть кол теши. Это тянет, девочки, на макабр.¹⁸ Смейтесь запросто. Не обижусь.

Еле с Гариком отдышались.

— Не суди, Джика, строго. Народ контуженный.

— Я ж сказала. Сама такая.

Трём глаза кулаками, дух переводим. Гарик слёзы с усов стряхнул.

¹⁸ Макабр — (фр. *Macabre*) танец смерти, средневековый ритуал; подражает пляске мертвецов всех возрастов и рангов в едином хороводе. Макабр танцевали на кладбищах для забавы и в напоминание о бренности всего сущего. В современном значении термин применим к чёрному юмору.

— Анжелика! Вот это я понимаю! Ну досталось тебе, малышке! Сочувствую. Оклемалась? Ну ты как, завершила исповедь?

— Нет, конечно, — сказала Багира. И опять, как не ждёшь от неё. — Это ж, Гарик, только прелюдия. Я внимательно слушаю. А ты упустил?

— Ничего я не упустил. Как упустишь такой эпизод? Наповал же!

— Так не в нём же суть, к чему Анжелика клонит.

— Не в нём? Нифига себе!

— Говорю ж, прелюдия. Правда, Лика? Вспомни, Гарик. Забыл? С чего начинали?

— А с чего? С Расёмона, помню.

— Ну скажите ему, Иван Александрович. Согласитесь, что вам сподручней.

— Ну чего занудила, Дуся? Всё в полустёб. Все всё помнят. Хули топтаться.

— Не скажите. Не всё тут в стёб. Анжелика как на духу. Правда, Лика? Я ж понимаю?

— Вот пристала, дамы и господа! Моя гостья. Имеет право.

Благодарно мне улыбнулась. А для Ниночки третью рюмку. А нам с Гариком по полтиннику; и не путать с другим полтинником, что был Рэмбе в кошмаре у Анжелики; нам чужого сюда не надо, мы же молоды, сил расцвет, впереди вся жизнь, не иначе. Я вздохнул, эх-хе-хе-е-э-э, и подал пример; отвздохали все, как сумели.

— Понимаешь, Гарик, — сказал я Гарикю.

— Да не надо, — сказала мне Анжелика. — Я сама, Ваня, справлюсь. Сама ж затеяла.

— Ну позволь мне всё ж втолковать два слова. Понимаешь, Гарик, она, Анжелика, захотела нам прояснить один тонкий момент. Понимаешь? Чтоб мы вняли её причине, по которой ей вдруг приспичило. Дэ труа приспичил. Да так приспичило, что рискнула вот добрым именем перед нами и упорно в оргию зазывает. Заезаешься, так затащит. Знаю, знаю, не в оргию, ни в Георгию, а в лямур, со всем уважением, со всей нежностью и любовью. Тем не менее, тащит. И не уймётся. Ты свидетель. И ты участник. И, конечно же, ренегат.

— Я такой, — сказал Гарик. — Я ренегат. Только Яхта я. А не Каутский.¹⁹ Ни Карлуша вам, значит, девочки. Ни сынок его Бенедикт. Тоже поц ещё тот, скажу вам.

Гарик на спор в начале семидесятых проштудировал нам за месяц пять томов сочинений Ленина, с тридцать третьего по тридцать седьмой включительно; так, сидели как-то плотной компанией и заспорили, и поспорили; и, конечно же, мы проспорили, а он выиграл, чистый пассионарий; вышел из дому через месяц на солнышко в бороде, синева под глазами, но, ясно, во всеоружии, подковался на жизнь вперёд; снисходительно принял свой приз от нас — ящик экспортной «Столичной» из «Каштана» на Карла Маркса; разумеется, пил не сам, а с компанией пораженцев, и такими сыпал цитатами, и

¹⁹ Пролетарская революция и ренегат Каутский — работа В. И. Ленина, в которой развивается марксистское учение о социалистической революции и диктатуре пролетариата и разоблачаются оппортунистические взгляды одного из лидеров 2-го Интернационала Карла Каутского, изложенные в его брошюре «Диктатура пролетариата».

не раз потом, что ховайся или мотай на ус. Почему вдруг пять, почему вдруг эти, а не первые, или с пятидесятого по последний? Потому что спонтанность нам имя, а не замученность. Так стояли они у меня на полке, у отца, конечно, не у меня, сколько помню себя, там они стояли, впятером, очень крепкие, синие, неприступные, хоть внутри и с отца пометками, но пометки все на фиджийском, отчего неприступность не умалется, а скорее, наоборот; *rerevaka*, ребята, нам всем *na kalou*, да *ka doka* нам, братцы, всем *na tui*;²⁰ Гарик нам бы своё бы выдал, там про *virtus*, что надо б *unita*, чтобы быть ей, как надо, *fortior*!²¹ а на полке с полным собранием, там на месте этих дыра, куда мама давным-давно водрузила морскую раковину с рогами с перламутрово-розовым зевом, прижилась, как вдали от братьев и эти пять, среди вкусных нормальных книг, прижились там и устоялись, так и вышло, что их схватили, когда спор зашёл, чтоб не лазать на верхотуру; после Гарика в них заглядывал, пробудил нездоровое любопытство; «Государство и революция» в тридцать третьем, а Каутский, ренегатище, смотри ж, не забыл, он, отступник, в тридцать седьмом... Сколько мыслей за полсекунды! Я люблю свою память. Она меня.

— Так ты понял, Ангола, об чём мы слушаем? Мы сейчас прознаём причину, по которой весь этот сюрреализм. Представляешь?

— Ох, представляю! Так, друзья, представляю, что вы и не представляете.

²⁰ Rerevaka na Kalou ka Doka na Tui — (фидж.) Чти Бога и честь королевы. (Государственный девиз Республики Фиджи).

²¹ Virtus Unita Fortior — (лат.) Единство обеспечивает силу. (Государственный девиз Республики Ангола).

— Боже! Как же вы с ним похожи!

— Надо, Дуся, всплеснуть ручонками. И тогда оформлен рефрен. В рифму, коротко, прост мотивом.

— Ну, а правда, самим вам видно? Интонации даже общие.

— Но сейчас, Багирочка, не об этом, — сказал Гарик. — Об этом после. А сейчас, раз уж слушаем Анжелику, так давайте на это и налегать.

Подняла Нинка рюмку, сказала бодро:

— Анжелика, твоё здоровье! Вот увидишь, всё перемелется.

Она чокнулась с нами. Вкусно всё заново. Зажевали остатками осетрины и солений не погнушались, и салфетками рты утёрли.

Анжелика сказала:

— Да, занесло меня. Честно, люди, не собиралась про убийство вам ни полслова. Я вообще не хотела про Васю. Не годится таким делится. Ну, лукавлю если, то только капельку. Нет, ну, правда же, занесло. Не успела и оглянуться, как скатилась на голой жопе. Я б сказала вам «извините», но вы ж обидитесь. Или нет? Хотите, я извинюсь?

— Так и славно всё получилось! — сказал ей Гарик. — Ну действительно ж обошлось! И не надо меня подводить под маменьку. Все всё поняли. Не бараны ж. Тут собрание же высокое. Да, собрание? За шесть футов? Я хочу сказать, Анжелика, что теперь уже дальше можешь молчать. Отмучилась. Дальше мы уже, Джика, сами. Про тебя тебе всё расскажем. Про себя себе. И про белый свет. Как, полковник, не лишку на нас взвалил?

— Не лишку, Гарик, а в самый раз. Что мы, зря мы тренировались? Да, девчонки, байками мы

сильны. Сейчас сами себя послушаем. Дождём, и в поход за вэритас. Раз труба зовёт. Притомились, девочки? Хоть куда ещё? Сапоги не жмут? Портянки не сбились?

— Боже, как же вы с ним похожи!

И Багира всплеснула ручками.

— Ты нам главное донесла, — говорит Анжелике Гарик. — А теперь отдыхай, малышка. Muskatное. Фрукты. В кругу друзей. Как, полковник, скажи, управимся?

— Полагаю, да. Задача простая. Тут, девчонки, недалеко. Километр прогулочным шагом.

— Ну вот это я понимаю! Вот всегда б нам такие вводные. А? Скажи! Кто начнёт?

— Приступай, раз кураж схватил.

— А действительно! Анжелика, ты хотела нам рассказать, почему для тебя сегодня таким важным вдруг показалось это спорное и рискованное предприятие. Мероприятие. В просторечии групповуха. Со мной, с Ваней, пардон, с ним, со мной, вот с Багирочкой, ну и Нинка не запылелась. Нинка, будешь? Амур дэ санк.

— Ну не дурак ты?

— А причём тут я? Анжелике же не откажешь? Бедной девочке. После шока.

— Нет, ну надо же!

— Да не надо! Нам политику партии тут втирать. Нет так нет.

— Да заткнись ты, хоть на секунду! Я не то хотела. Хочу сказать, что как раз вот сижу я с вами, сто лет не виделись, а душа на месте, как будто дома, даже лучше, чем просто дома, а на сердце песня, тепло на сердце. Вот сказать что мне захотелось. Ни с

того, понимаете, ни с сего. А ты сразу «партия!». Бог с тобой.

— Ну, давайте, девочки, вернём меня в тему. Анжелика, начнём сначала. Ты не просто отважилась на такое, но ты даже не побоялась выступить как инициатор. Чем, признаться, меня, я пряник бывалый, просто за душу пробрала. На дороге же не валяется. И в другое б время, даже просто хотя бы из чистого уважения вот к такой вот твоей рисковости, я бы. Но! Как помним, не та была Хорол-речка, как нам метко Иван заметил про специфику ситуации. Возвращаемся снова в тему. Предприятие обломалось. Как тебе хотелось, не получилось. По причинам — читайте выше. И тогда, Анжеликочка, смотри, ты, человек души чистейшей, захотела нам объяснить, изъясниться, обосновать, почему ты вдруг с таким натиском, в чём причина, что для тебя оказалось вдруг столь насущным, чтобы это произошло, состоялось всенепременно, что за надобность тебе в том, в этом самом лямуре с нами. Вознамерилась ты прояснить для нас, а какие ж дары тебе там назначены, тебе видятся, а нам так себе. Пока правильно? Не напутал?

— Ну, вроде, нет, Гарик. Нет, нисколько! Так и есть, как ты говоришь. Рассказать хотела про всё как есть. Но скатилась.

— Теперь послушай. Отдыхай, малышка, и просто слушай. Эстафета, мон генераль?

— Вставить некуда. Давай дальше.

— Ну, а дальше оно, как дальше, — сказал Гарик глубокомысленно. — Надо хряпнуть. Профессор старенький.

Мы и хряпнули всей компанией, кто как смог. А во мне всё в гору, как у поэта с его лошадкой. Там лошадка, а тут кураж.

— Переходим к насущности! — сказал Гарик. — В ней-то всё тут для нас и кроется. Не осилим, так не узнаем.

— Не тянитус! — сказала Нинка. — Не тянитус, Гарикус, народус за причиндалус.

Не овация ей, но смех наш радушен.

— Не сочтёте меня педанткой? — говорит тут Нинке Багира. — Пять минут прошли. И волну поймали. Смена мест, присяжные заседатели? Или как?

Ну, Иван, прикинулся зрителем, поступай, как устав велит. И, стацив правую руку из-под Нинкиной, я похлопал в ладоши, ни густо, ни жидко, а в самый тонус, в тугой замес для вкусного каравая. И решил, что пока всё так, как оно пока, на Багире жениться можно. И с котла мне, с любимого циферблата, стрелки весело показали, что и третий день наш с нею в Октомероне бесшабашно движет к концу; пять минуток ему осталось.

Нинка, наш гинеколог, смутилась Нинка.

— Ну, конечно, Багира, — она сказала. — Уговоры ж нам для чего.

— Чтобы их нарушать? — сказала Багира.

— Но не в данном случае! — засмеялась Нинка.

И решительно поднялась. Ну, а смех у неё колокольцами, а кудряшки её, как ленточки — ох и нравилось мне когда-то.

— Уговор же он уговор.

И пантера с присущей грацией оказалась со мною рядом и приборы переместила. А Нинок, желток наш с горчицей, пересела на средний стул.

Анжелика сказала:

— А ты меня, мать, потом, угостишь меня тоже на пять минут? Угостишь доверенным местом?

— Ну, конечно, Лика. Потом, конечно.

Улыбнулись, как засмеялись.

— Хорошо сидим! — сказал Гарик. — Ну вот ей богу! Уж поверьте. Я пряник тёртый.

— Не тянитус, — сказала Нинка.

— Да, — сказала Багира, руки моей не касаясь. — Наводящий, Гарик, вопрос из зала. В помощь профессору.

— Ну-ка, ну-ка! — взбодрился Гарик. — Вот вы, девушка, там, с галёрки, рядом с Южанином. Говорите!

— Почему, — сказала Багира, — Анжелике нашей сейчас так важно получить от нас с вами с ней секс совместный?

Сорвала таки, дуся, аплодисменты; не овалция, но завзятые. Вот что значит прямое слово.

— О! Спасибо, девушка. Вы садитесь. А то место пустым не будет.

Все смеются.

— А вопрос ваш в точку. Я так скажу. Анжелика, она...

— Всё, дорогие, баста! Сейчас, люди добрые, бить вам буду, — сказал и поднёс «Ориент» к глазам, поднял руку с ним на запястье. Дар Событий тут шуткой нам пошутил: а чего ты, Ваня, на правой носишь? Так левша ж он, сказали ему с небес. То ли шутку не распознали, то ли Дару Событию намекнули, чтоб не больно-то к нам встревал он, когда на пороге полночь. Повторили даже: левша Южанин. И прибавили даже, как для своих: переученный он,

двурукий, рубануть умеет с обеих, как другой казак, Гриша Мелехов. Ну, спасибо, сказал я, братцы. — Бом! — сказал я честной компашке. — Выметайтесь в библиотеку. Бом пошёл вот уже второй. Вот и третий уже вам — боммм! Накрывайте там всё по новой. Боммм! Всем нам. Вот уже четвёртый. Вот и пятый. Отличный боммммм! Время кончилось, время вышло. Боммм! Шестой. Начинаем заново. Будет день. Боммм! Седьмой. И будет нам пища. Боммм! Восьмой. Шевелитесь. Не тормозите. Вот уже девятый нам — боммм! Подъёмус жопус! И педис в манус! Боммм! Десятый. Я подгребу. Ну и вот, пацаны, нам, слышите. Боммммм!!! И двенадцать. Боммммммммммм!!!! Полночь, люди. Дальше с нуля.

— Это было проникновенно, — сказала Нинка.

— Ваня лучше всяких курантов, — сказала нам Анжелика.

Гарик молча всем показал «Ориент» на своём запястье, помассивней чем у меня; мой презент ему из Каира.

— Вот, Багира. Вступили в четвёртый день. Мы с тобой.

А она ответила:

— Я люблю вас.

Я поднялся.

— Перебирайтесь. Я к вам скоро присоединюсь.

День третий.

26 декабря, 1991, с полуночи до полудня.

Чем может секс помочь в депрессии? О пользе плохого и о вреде хорошего.

Я пошёл путём проторённым. Вылил в ванной на себя три ведра студёной воды и, не особо растираясь, отправился в спальню испытывать себя Шкафом и всем, что там тоже осиротело. И отметил скромно, без фанаберии, что с тех пор, как вошёл сюда день тому, или два уже, чтобы выбрать себе прикид для застолья с Багирой в библиотеке, и нарвался на пустоту, схлопотал от неё нокдаун, так с тех пор я, смотри, привёл себя в тонус, не ведусь на попытки жалеть себя и терзаться над пролитым молоком; кто praemonitus, тот praemunitus,²² проще, видим, пареной репы; да, что просто, то и правда, а что сложно, то и ложь; наш поклон великому дзеновцу с берегов Днепра.²³ Я вернулся к ним в оливковой галабее,²⁴ без амаммы, правда, тюрбан такой, его давно подарил; угадайте, кому; угадали — Максиму Репину, он теперь в нём по вечерам китайский штудирует.

— Ну вот это я понимаю! — сказал Гарик. — Не, ну так не пойдёт. А я как?

²² Praemonitus praemunitus — (лат.) Кто предупреждён, тот вооружён.

²³ Надо полагать, Иван поклонился странствующему философу и баснописцу XVIII века Григорию Сковороде, благодарившему бога за то, что всё, что ложь — сложно, а всё, что правда — просто.

²⁴ Галабея — национальная одежда народов Северной и Центральной Африки, длинная, до пят, мужская рубаша без ворота с широкими рукавами.

Его все заверили, что и так хорош. Вот и в сборе все. Наметав на стол, — наших рук дело с Гариком, из морёного, — наконец расселись по креслам девушки, и я с наслаждением объявил им, что, боже ж, боже, до чего ж они все непохожи. И имел успех.

— Нет, ну так не пойдёт, полковник. Дай мне килт! Хоть буду, как все.

Килт в шкафу, но мне было лень.

— Уволь, Гарик. Искать полночи. Да ты клифт накинь вместо килта. Пылится ж клифт.

Я принёс ему со стула за моим столом под зелёной лампой его новый шедевр, в коем он пожаловал. В этом чуде серо-зелёном и в моем халате на бёдрах с под пупом рукавами на узел, он с особой своей примирён был.

— А часы, женераль, чего ни гу-гу? Наконец дошло, чего не хватает.

— Постоят пускай, пока мы сидим.

— И давно ты их не заводишь?

— Пару дней в тишине живём. Да, Багира?

— Сразу стали, как Лидка пустилась в путь?

— Почти сразу, как Санька отсюда вышел.

— Ты б завёл, а? Ну, правда, без них сиротство.

— А куда ж вы, Иван Александрович, теперь сядете?

Вот держалась, не дёргалась, не сдержалась. Распахнула на кухне клетку, чтоб нам выпорхнуло «люблю вас!», и терпела себя и всех аж оттуда аж вот досюда. Остальные же героически притворялись, что и не слышали. Так оно б себе и проехало, коли б камешек не сорвался высоко в горах. Жди лавины. Анжелика, Гарик и Нинка, все втроем и каждый по-своему, рассудили, что вот не ей бы, не Багире,

неделя без году, поднимать вопрос о пристанище за столом самого хозяина; да, бестактностью посчитали — не ей бы молвить, не им бы слышать.

Вот Нинок и отозвалась. Вот она и сказала ласково:

— Да к тебе ж, Багирочка, и подсядет. Ты ж как раз сидишь в кресле Вани. Вы ж поместитесь. Вы ж не толстые.

Заодно и на «ты» перешла без комплексов. Вечерок в новом времени обещал задаться. Я унял возражения и припёр из спальни от зеркала такой пуфик с ножками, как у льва, развалюху под стёртым ковриком.

— Фух! — поставил рядом с Багирой, да с восточной, с Нинкиной стороны. — Вот. Бабуля была красавицей. Просидела на этой штуке много времени перед зеркалом. Потому что коса до пола. Расчесать, заплести, накрутить на голову. Я боялся подглядывать, но подглядывал. Страшно было, но я подглядывал. Мучил страхом себя до слёз. Там другая бабушка в зеркале. И как зыркнет в меня оттуда! Жуть кинжальная, стынет кровь. Вы детьми когда-нибудь были? Не пугали вас зеркала?

— А садитесь в кресло. А я на пуфик.

— В каблуках? Да не надо, Дуся. Тут колени выше ушей.

— Так а я каблуки сниму. Вот уже. И не надо спорить. Ваше кресло. А пуфик мой. И опять же поближе к Нине. Мы на ты уже, Ниночка? Или как?

— Ну, знакомься, Иван — Багира, — сказал с люстры мне Дар Событий. — Ты ж ей сам велел: защищайся, наноси удары и всё такое.

— Ну, а я что? А я знакомлюсь. Ну, а ты чего? Не зуди.

Нинка, бедная, покраснела, как умеет краснеть у нас только Нинка.

— Да, конечно, ты. Какие вопросы? Я давно уже, кажется, перешла. Не сочтите за панибратство.

— Не сочти, — Багира поправила. — Раз на ты уже, так на ты.

— Упускаем главное! — сказал Гарик. — Надо хряпнуть, а мы не хряпаем. Всё никак рассесться не можем.

И его вперевод заверили, что давно уже все расселись.

— Вот люблю ж я здесь! Как нигде. Прости Господи, сколько же мы тут выпили! Мы с Иваном, с отцом Ивана и с друзьями его и нашими. В этом храме прекрасных книг.

Я не понял, он заливал в пользу девушек для словца или спутал таки два дома, пока странствовал по Гонконгам, этот, дедов, с моим, отцовским. Здесь всего мы года четыре; дед позвал к себе с Лидкой с Санькой, когда бабушку схоронил. Сам потом протянул недолго; без него мы тут года три. А в отцовском доме, в котором вырос, там и вправду было радушно. Жили мы на бульваре, который большевики из Французского сделали Пролетарским, но такой уж этот бульвар, товарищи-камарады, что и с новым именем не пропал, а придал звучанию Пролетарский свой особый французский шик. В нашем доме друзьям моим были рады. Вереница весёлых сердечных дней пробежала в тех стенах в семидесятые, аж пока не убыли в Африку, кто по эту экватора, кто по ту. В нашем доме на Пролетарском,

там, не в этой библиотеке, в той, отцовской, и выпал случай одному из нас, можно пальцами, одному из нас, выиграть спор у друзей на пяти томах от вождя революции пролетарской.

— Да я знаю, что привираю, — сказал Гарик после молчания. — Так само получается. Очень схожи эти два места. Духом. Книгами. Атмосферой. Даже светом, пардон, невидимым. Да и видимым тоже схожи.

И вздыхает Нинка, откинувшись в карé кресла:

— Век живи, Багирочка, век учись. Год встречались, а я не знала. Я не знала, Гарик, что ты поэт.

На что Яхта резонно ей замечает:

— В такой час в таком месте, Ниночка, все поэты. И даже ты. У Ивана не забалуешь!

Это нравится всем троим.

Багира спросила:

— А другое место, что с этим схоже, оно далече? Или можно там побывать?

— Его попросту больше нету, — ответил я. — Обитают там незнакомцы.

— Это грустно, — сказала Нинка.

— Это весело, — сказал я.

— Почему?

— Потому что весело. Мой такой, Нинусечка, выбор. Веселись, пока молода.

Анжелика спросила:

— А мы будем ещё про меня беседовать? А то, вижу, жизнь коротка.

— А то как же! — заверил Гарик. — Обязательно, Анжелика. Мы же тут не шалтай-болтай.

У меня открылось третье дыхание. Вот привычка, вот польза от мук писательских. Полночь с

полуднем славные рубежи. Я напомнил об этом честной компании, о прекрасном качестве цифр двенадцать — пересёк и снова, как новенький, можно заново что угодно, можно баиньки, если что. И велел, ничтоже сумняшеся, брать с меня пример благородный. И опять же имел успех. Вот не зря ж сюда их переселил; приосанились, как огурчики.

— А давай, Ангола, по полстакана. Первый гост новых суток. За всех, кто тут!

Ну и хряпнули наконец, как положено, в половине первого ночи. Положа руку на сердце, господа, ну, а чем ещё в этот час заняться? Закусили. На зубах хрустит, за ушами треск. Тут таких от щедрот Баранова нам консервов Багирой намётано, что вкуснее любой свежатины.

— Разносолы у вас, ребята, — Анжелика бормочет нам, — ну не хуже, чем... ну не хуже, чем...

Всем понятно, что, чем у Рэмбо, но воспитаны ж все до одури, да и треск за ушами с хрустом; Анжелику никто не слышит. Да, лукавства, выходит, что не отнять. И пускаемся с Гариком, оба-два, в пересказ чудачеств из нашей юности. А мы можем, самим себя слушать совсем нескучно, а прекрасному полу сам бог велел. Вот уже промелькнул наш фирменный, не придуманный, а всамделишный, а придуманных мы не держим, а про то, как в обнимку с девчонками вечером мы шагали, вольны, как ветер, из Шампанского переулка вниз по лестнице на «Шаланду», и в руках у каждого по четыре «Алиготе», по две в каждой руке, за горлышки, между пальцами, ну и было нам по семнадцать, всё ещё до всяких призывов, и Ангола был ещё не Анголой, звался просто он — Динамит, а я в Патриках, кто не знает, хоть по

жизни всегда был Югом; Динамит со своей шагал впереди, ну, а Юг со своей — пять ступеней выше; и пришла Динамиту в голову, а не в голову, так куда гадайте, превосходная, значит, идея от избытка пульсаций жизни: а давай-ка, прочувствовал Динамит, прокачаем Югу вазомоторы, чтоб держал себя в форме, не раскисал; чем плоха? да всем замечательно! и тогда без второго слова, и ничем не выдав такую эврику, прежде, чем она воплотится, Динамит швыряет через плечо, по одной, подряд, все свои четыре; на второй кричит: «полковник, лови!», и они, четыре «Алиготе», кувыркаясь, как кегли, в июньских сумерках, устремляются к Югу наискось по законам физики для немелких тел; у того четыре своих в руках; по бокам от лестницы склоны в травке, на неё Южанин свои накатилом, не разбились, мягко пошли в кювет, а все кегли из воздуха хват! извлёк, по одной, но однако же все четыре, и не звякнул даже, а распихал — по клешням, по подмышкам, одну за пазуху; не успели толком и взвизгнуть спутницы; знал, что справишься, вот уверен был, говорит Динамит, собирая с травы бутылки, Юг, деуули, голькипэр у нас, как тигр, как лев, Хомич с Яшиным вот, скажите ж, бы не управились... И о чем это, спросите? Ну для вас, как своим, скажу. Ну, во-первых, что ни о чем. А второе, что с пятого по восьмой были с Гариком мы в соперниках по вратарскому ремеслу; он в голу стоял за мобутовцев,²⁵ а я в «Черноморце», вот такие мы были

²⁵ Мобутовцами в Одессе в 60-е называли футболистов СКА и их болельщиков. Как нетрудно догадаться прозвище своё они получили по имени президента Демократической Республики Конго Мобуту Сесэ Секё Куку Нгбенду ва за Банга, который

юноши, а Кассиля читали все, потому иначе, чем «товарищ голькипэр», мы друг к другу не обращались; а к восьмому уже окончательно нас востребовал к себе бокс; интересно, а что бы вышло, если б вышло бы всё иначе? до сих пор, и всерьёз и в шутку, полагаем, что лучше нас с ним голькипэров ещё не рождалось... Промелькнул вот такой пересказец. Нет на нас с ним тут Антонины, ни любой из Гарика прежних, а то подняли б уже на смех — и за то, да сколько же можно про четыре бутылки в воздухе, про спасённые «Ркацители», почему «Ркацители»? да чтоб вас, «Алиготе»! но какая кому тут разница?! сколько ж можно живописать обезбашенность с понтовитостью?! и когда ж наконец уймёмся выяснять, кто лучшим ловилой был? Вот за это и схлопотали б. И за всё остальное разом. А чего ждать от бывших жён. Но сегодня нам повезло. Нас одёрнуть тут не нашлись. Даже Ниночка ржёт вон, как молодая.

Но однако ж совесть штука упрямая, и вернулись мы к Анжелике. И не кто-нибудь, а сам Гарик обратился к ней на исходе ржачки:

— Анжелика! Душа моя! — сообщил он без подготовки. — Так на чём мы остановились?

— А на чём?

— А на чём?

— А на чём?

— А на чём?

пришёл к власти в результате военного переворота и установил в стране диктаторский режим и однопартийную систему; в переводе с языка нгбанди его имя означает «Могучий воин, благодаря твёрдости и железной воле идущий от победы к победе, сжигая всё на своём пути».

— А на том, что сейчас и вспомним! — заявил нам этот знаток мнемоники. — Но сперва надо память восстановить.

Ну и кто не знает, как это сделать? Только счёт у каждого с памятью свой особый, он же Гамбургский; потому налито у всех по-разному: у нас с Гариком по два булька, у Багиры фирменных полнапёрстка, у Нинки рюмочка, не рюмаха, Анжелике ж фужер мускатного, отпузырится пена, останется полфужера. Тост сложился за правду чувств, и пришёлся он всем и каждому.

— Ты прошла через черт те что, — сообщил Анжелике Гарик.

— Ну вот это память! — смеётся Нинка. — Гарик! Это я понимаю!

Чуть не встрял, чуть не сделал Ниночке замечания, что и так, мол, непросто копать тут вэритас, пусть прикусит свой язычок; но сдержался, но промолчал и остался собой доволен. Не хочу двигать реку, пускай река сама движет нами.

— Ты прошла, Анжелика, как мне сдаётся, — продолжает Гарик свой детектив, — через, через не только ужас, через, через не только мрак, но ещё и сквозь, через муть, сквозь грязюку, сквозь жижу всякую, о которых тут и не стóбит...

— Почему не стóбит? — вскинулась Анжелика. — А я не боюсь. Ни себя, ни вас.

— А зачем, — сказал Гарик, распахнув на себе пиджак, — нам ненужные здесь подробности? А? Разве ж нам и так, без того, не хватает клубнички по жизни всякой? И в земле прямо с грядки, и пере-мытой. Ну скажи, женераль. Ну скажите, девушки.

— Нет, ну в самом деле поэтом сделался! — возмутилась Нинка. — Вот это новости!

— Сингапур, — сказала Багира Нинке. — Или даже не так. Гонконг!

Та кивнула ей с пониманием. Анжелика сказала:

— Послушай, Гарик. Раз подробностей мы чураемся...

— Не чураемся.

— ...и испачкаться мы боимся...

— Не боимся.

— ...так а что ж нам тогда тут надо? Чтоб приблизиться ближе к делу.

— Надо нам? — Гарик взял себя крепко за лацканы. — Надо нам, — сказал он решительно. — Надо нам ухватить за суть.

Ну и всё, опять туши свечи; белый шквал, мгновенный порыв единый; ухватить за суть? так а где ж та суть? у кого ж та суть? и за что хватать? да и надо ли? да и можно ли? оторвётся вдруг, как потом с ней быть? да и что за прок, коли корень слаб? в корешках она? не в вершках она? может, всё ж не чипать её? может, ну его от греха подальше? и отсюда плавно мы переходим к очевидному очевидству, что коль скоро решиться хватать за суть, за неё, за суть, всё ж хвататься всё ж, то сподручней всех это Гарику, только руку вот в рукаве пиджаковом протяни к себе под халат и хвать, там и суть, зашибись, и не ошибёшься. До задыхов нахохотались, до сипений молекул воздуха, до слипания лёгких в тряпочку.

— Всё же, мальчики, вы скабрёзники, — сообщила Ниночка под раздох задоха, под расправку мехов в конце наконец.

— Мы?! — сказали с Гариком хором. — А вы?

— А что мы? Это ж вы тут остроты икрой метали. Мы ж и слова не проронили. Только смехом душились молча. Правда ж, девочки? Я ж не вру?

Может быть, так оно и было. Не заметил, но может быть.

Гарик слёзы с усов отёр.

— Вот словили, блин, смехуёчек!

А Багира вдруг:

— Ну, Иван Александрович, ну нельзя же так, право же, сударь мой, несерьёзно же так подходить к серьёзному.

Я ответил ей:

— Да ты шо?!

— Нет, ну правда же Анжелика ждёт.

— Не дождётся? — спросил. — Или подождёт? Подождёт не дождётся? Или дождётся?

Вот и я вслед за прежней троицей тоже внятно вляпался в понимание, что не нам бы слушать, не Дусе бы выступать.

— Мы, Багирочка, не нарочно, — сказал ей Гарик. — Смехуёк такого калибра он и в Африке смехуёк.

Это разом всех успокоило. Очень веско он это втёр. А меня так он просто выручил, потому что я уже был готов угораздить Багире взбучку, чтоб не двигала реку, когда не просят, и вообще бы скромней бы себя бы вела б. Уберёт он меня от грубости, уберёт он меня от глупости. А Баранов бы что бы сделал бы на его бы, Гарика, месте? А, пожалуй, что то же самое. И не больше бы, и не меньше бы; разве что вот в ладоши хлопнул бы оглушительно, укротитель, чтоб сомнений не оставалось и чтоб тигры хвосты поджали. А Анголе хлопёк ему нафига? Смехуёком

вполне обошёлся. Щедр Творец со мной на друзей. И как только я так подумал, незабвенный мой друг Георгич взял и громко хлопнул в ладоши.

— Всё, ребяташки. Говорю!

Дар Событий на люстре с пробкой и слуга ваш в кресле покорный в оливковой галабее покатались со смеху по-секретному.

— Ну вот, — сказала Багира. — Ещё и хлопок в ладоши.

Гарик быстро стал говорить. Рассказал Анжелике и нам он вот что: Анжелика прошла сквозь огонь и воду, — медных труб ей пока не выпало, и за то пусть благодарит, — через боль и ужас она прошла, сквозь трясины падений и надругательств...

Анжелика вскинулась:

— Да откуда же знать тебе?!

— Нет, ну слог себе натянул! — сокрушилась Ниночка. — Сквозь трясины падений и надругательств... Скажи, Ваня, это же китч?

Я махнул на неё рукой, Гарик молвил «какая разница?» и не дал себя перебить.

...и пошла Анжелика, сдаётся Гарику, чтобы выбраться из депрессии, после всех передрыг пошла по рукам, по рукам пошла, как по кочкам, пересечь дабы место топкое и добраться по кочкам до места твёрдого, обрести под ногами твердь, и, как видим, что добралась, из болота выбралась, но оскомина от тех перепрыжек на кочку с кочки, из тех рук на руки, из одних в другие, та оскомина, когда уже позади всё, добралась и выбралась, выдралась, устояла, и дальше б себе шагать бы, тут оскомина эта возобладала и востребовала слюны для дальнейших плевковых действий, и мешать стала дальше жить; и тогда

Анжеликин ангел ей напомнил про светлый остров, что всегда есть в пучине мрака, и зовётся тот остров Югом, а на картах так полным именем, и оно, стало быть, Южанин — избавитель и опекун, может быть, единственный во вселенной, кто всегда Анжелике только во благо, никогда во вред, а всегда во свет...

— Ты что, Гарик, над Ваней тут потешаешься? И над нами и Анжеликой?

— А вот мимо, Нина. Как раз и нет.

Анжелика сказала тихо:

— Надо мной уж так точно не потешается. А пальпирует мне нутро. Ты нутро мне, Гарик, пальпируешь.

Рассмеялись бы, если б надо бы. Но не надо, не рассмеялись.

— Так а нам что? — сказал нам Гарик. — Мы ж наследники Пирогова.²⁶

Этот тезис Гарику с рук сошёл. Ну и он продолжил пальпировать.

...Анжелика ангелу, Гарик знает, Анжелика ангелу внемлет и приемлет его подсказку, начинает она мечтать; погружает себя в мечты, призывает туда Южанина, и в мечтах своих настоятельных Анжелика мечтает, что он, Южанин, и на этот раз Анжелику выручит и избавит и от оскомины, и от грязи липкой, и от хандры, потому как к нему такое не пристаёт, а гораздо он спасать народ от такого.

— Это всё? — вопрошает Ниночка.

— Ну, а дальше надо вручную, — сказал Гарик.

— Это как?

²⁶ Николай Иванович Пирогов — русский хирург и анатом, естествоиспытатель и педагог, создатель первого атласа топографической анатомии, основоположник русской военно-полевой хирургии, основатель русской школы анестезии.

— Слово за слово, хреном по столу.

— Фи!

— Ну а как, Нинок, если мы за вэритас? Мы ж хотим ухватить конкретику. Почему вдруг паиньке Анжелике вынь тут вдруг да подай групповуху с нами. Мы ж за этим? А прочее болтовня.

— Ну не с нами, а с вами, — сказала Нинка. — Анжелика, а ты что скажешь?

— Что скажу? Да хочу дослушать. Ну, а что ещё остаётся?

— Я вам бом сейчас оглашу, — сказал я, помахав котлом перед ними. — Он и в Африке бом, и в Бийске, и в Ебийске, и в Барнауле. Welcome слушать и не гундеть! Вот сейчас, вот слушайте. Боммммм! Час утра. Ну что, Ангола? Сойдёт за правду? Чтоб без сиротства. А? В Багдадике всё спокойненько?

На такое что мог мне мой друг ответить, кроме этого, что ответил.

— И в Багдадике, и в засадике, — сказал Гарик.

И мы с ним хряпнули.

— Я сейчас, Анжелика, — продолжил Гарик, — вот скажу, как есть, как я понимаю...

Перебила Нинка:

— Ваня, ну чем мы тут заняты?! Из пустого в порожнее? А зачем?

Ей Багира сказала:

— Добычей вэритас, Ниночка, мы тут заняты. Сама не видишь? Гарик смело нас к ней ведёт. Как Данко.²⁷

²⁷ Дáнко — персонаж рассказа Максима Горького «Старуха Изергиль», пожертвовавший собой и спасший свой народ с помощью горящего сердца.

Я за это Багиру с пуфика сгрёб и нагло всем в губы поцеловал. Точно знаю, не собирался. Не хотелось Ниночку обижать. Только *man supposes, God disposes*. Вот и выскочил я на сцену. Чёрт попутал, свинья не съест. Пригодилось, как водится, всем по-разному.

Мне Багира сказала:

— Мерси, Джованни.

Нинка звонко:

— Ты любишь Горького?

Анжелика сказала:

— Ниночка, не сердитесь. Со *мною* возьтятся. И довозятя. Вот увидите. Уже скоро.

— Хватит, милая, тебе выкать мне. Мы ж на ты. Ещё со вчера.

— Слушай, Нина, — сказал ей Гарик. — Мы ж в гостях тут все, кроме Вани. А?

— А? — сказала Нинка. — Конечно, а. А бэ о чем?

— А не плюй мне в борщ. Не на улице ж.

— А на улице, значит, можно? И вообще, Георгий, ну что за тон!

— Я про улицу, — сказал Гарик и застегнул свой серо-зелёный на верхнюю пуговицу. — Потому что, встретяся мы там, а не тут, там бы, Ниночка, на здоровье б ты и корчила на меня обидки. А тут людям, скажу, без разницы, почему да как мы с тобой расстались. Пять годков тому. Не смехи народ. И не плюй нам в борщ. Вот тебе и бэ.

— Ух, как грубо! Чего пристал? Вань, чего он пристал ко мне?

— А того, что много воняешь, — сказал я моей славной Ниночке. — В диссонанс звучишь. Тормозишь симпозиум.

— Я воняю?! Девчонки, чего молчите?

— А чего им, Нинок? — сказал Гарик. — Что? Наших бьют?

— Представляешь, Ниночка? — сказал я, пожалев, что сам я не в килте. — Запашок-с. А самой не слышно? От тёртого гинеколога.

— Ну вы, судари мои, напустились, — и Багира на пуфике передвинулась к Нинке в кресле. — Мы же все-таки девочки, господа.

Анжелика сказала:

— А давайте уже вернёмся ко мне. Уже ж, вроде бы, как вцепились мне в мою бесстыдную суть. Или нет ещё?

— Мне уйти, да? — сказала Нинка. — В самом деле нам что-то не по пути.

Я отсёк от всего, что сказать бы мог, всё, как видел, чего не стоило, и сказал только вот что:

— Вообще, ребята, я сюда никого не звал. Все, как помним, припёрлись сами. Так чего теперь протокол блюсти? Выметайтесь в любом порядке. А вот вы, полковник, подзадержитесь. Я не всё успел ещё вам сказать.

— Ну и правильно, — сказал Гарик. — Кто с мечом к нам, тот на щите. Дура лекс, конечно, но это лекс.²⁸

Промолчать бы Дусе, вот ей не дёргаться б, но она как раз и спросила:

— Вы так шутите? Или в самом деле?

— Да тебе чего? — сказала ей Нинка. — Это, девочки, про меня.

И она поднялась из кресла.

²⁸ Dura lex, sed lex — (лат.) Закон суров, но это закон.

Анжелика сказала:

— А я останусь. Правда, Ваня? И мне ж чего? Да, Багирочка? Нас не гонят, мать? Вы бы тоже, Нина Ивановна.

— Проводить? — спросил Нинку Гарик.

— А ты проводишь?

— Во втором часу ночи? Оденусь только.

— Благородно.

И к двери в коридор Нинка шаг направила.

— Но сперва только всё-таки доскажу.

Пришлось Нинке прервать ходьбу.

Анжелика воскликнула:

— Слава Богу! Доктор, знайте, вы просто лапочка!

Подхватилась она из кресла, чтобы чмокнуть Гарика в щёку; и погладила по руке. И, взбодрившись, вернулась в кресло.

— Посиди, Нинок, — сказал Гарик. — Я побыстрому. Тут недолго.

Нинка, желток наш сегодня с горчицей, переступила с ноги на ногу в бархатных сабо с вышивкой и застряла в пространстве между прерванным застольем с чаяниями, сюда приведшими, и дверью в коридор, по которому дорога вводила её отсюда, понимать надо, что навсегда. Она нашлась, наша Ниночка, она изощрилась.

— Начинай, Георгий. Сейчас вернусь.

И потопала, значит, припудрить носик.

И Багира, поднявшись с пуфика:

— А давайте мы тоже все дружно сходим. И вернёмся все. Также дружно.

Дар Событий мне с люстры: «Я говорил».

Мы сходили все, мы вернулись; Нинку табором прихватили.

И расселись все, будто заново, будто только что собрались.

— Насыпай, полковник!

— А мне насыпите?

— А то как же, Ниночка? Мы ж не звери.

Посмеялись. Без задыханий, но некоротко посмеялись. Ну, а тост за отца моего всех устроил. Я тайком от них тост удвоил, я и Саньку туда на весы поставил, рядом с дедом, бок о бок, двух тёзок рядом: за того, кому ещё нет шести, и того, кому стукнет семидесятник, в январе, но туда бы ещё дожить. Я соскучился по обоим. И на этом пока что баста. Покачал головой я Дару Событию, чтоб не вякал с люстры на этот счёт.

— Эх, девушки! — выдохнул, выпив, Гарик. — А вот знали б вы Александра Южанина, Александра Иваныча, не поверили б, что такие мужчины на свете есть. Пейте вдумчиво и задумчиво. На ваш век таких вам уже не выпало. И не выпадет. Это с той войны. Мировой. А не с наших. Междоусобиц. Да, генераль? Камарадо, си?

— А я знакома, — сказала Нинка. — Мы знакомы. Мне повезло.

Гарик глянул на меня, я кивнул. Вот и сам был вынужден вспомнить. И признать с удивлением, что забыл. А ведь это всего лишь этот январь; ну а год всё никак не кончится. Я пробил им бом в получасье. У нас с Нинкой как раз был роман в разгаре, и отец нагрянул, как Дионис на затерянный в море Наксос, ну а Лидка была в Цхалтубо с моим тёзкой, своим отцом; мой отец как раз был Ниночке рад, потому что Лидку не жаловал, ну а Нинка была в ударе, говорю же, в разгаре был наш роман; про «не жаловал»

громко сказано, по отцу ж никогда не скажешь — так, по косвенным признакам, как положено; уже год к тому времени, полтора, получал по письму от отца раз в месяц с португальским, стало быть, штемпелем; проработав полжизни по Азиям, вот куда на покой подался; а приехал, я угадал, чтоб оформить с мамой развод, узаконить их давний статус, а расстались они давно, когда я был на Гиндукуше, и меня частенько доканывал сон, убеждавший меня доходчиво, что волной, что меня контузила, разметало и папу с мамой друг от друга и навсегда; говорю ж, во всём виноват, отбрехаться редко выходит; для кого-то, может, и курам на смех разводиться в преддверии аксакальства, а для нас, долгожителей, в самый раз; это вовсе не означает, что отца сынок сто раз не подначил; грубоватый в нас юмор внедрён династией, казаки ж с Кубани, не тушеваться ж; этот юмор наш он кому-то, конечно же, режет слух, он кому-то, конечно же, колет стыд, ну а нам он опять же вот в самый раз, он для сердца, а не для славы; ресторанчик на Золотом Берегу, берег детства, был не закрыт, он был пуст и волшебен, а директор с отцом знаком; там и справили день рожденья, шестьдесят, значит, девять, вынь да положь; а сынку всего лишь сорок один, а жена сынка, значит, после романа с Америго Романо, миланским тенором, поправляет здоровье в Цхалтубо с папенькой, а сестра жены, старша доця папина, вот кутит в ресторане с мужем сестры и отцом его, именинником; а отец, понимай, на жизнь понимает, одиночество опостылело, путешествует он не сам, прихватил в дорогу он португалку, а точнее, бразилианку, и представлена нам невестой, и зовут её Алешандра, ещё Сашку в нашу

династию, пока третьей будет; к декабрю сейчас той невесты и след простыл, Алешандра жена теперь, и грозятся мне брата сделать; в добрый час, отец, в добрый час, Сашуня, улучшай породу, хотя куда ж уже, все и так красавцы, как на подбор; провели тот день замечательно, как в круизе по памяти над обрывом, как в походе не за руном, а в таком, где поход он и цель и радость.

— Это ж как же я прозевал? — вопрошает Гарик.

— Вспоминай, где был двадцать пятого.

— Января?

— Нет, бля. Месяца, блин, нисана!²⁹

— Ну да. В Турции. Вру, в Афинах. Мраморы изучал.

— С нами, кстати, был Василец.

— По работе?

— А как узнаешь? Тоже, кстати, с тех пор не видел.

— Разметало нас, — сообщил нам Гарик. — Может, сбор, женераль, протрубим давай?

— И Урядник был, — напомнила Нинка. — Не один, а с девушкой.

— С проституткой, — сказал Гарик. — Считайте, что я спросил.

Улыбнулись, не отвечать же.

— Вань, а можно про Алешандру? — спросила Нинка.

²⁹ Нисан (происходит от аккадского нисану, «первые плоды») — в еврейском календаре первый месяц библейского и седьмой гражданского года. Приблизительно соответствует марту — апрелю григорианского календаря. Этот месяц называется царским.

— Ну валяй, знакомка отца. И что ты тут нам сболтнёшь?

— Так нельзя?

— Да можно. Но осторожно.

Улыбнулись губ уголками; и у каждого угол свой.

Гарик всё ж решил уточнить:

— Ты уже не уходишь, Ниночка?

И Багира снова в защиту страждущих:

— Да никто пока не расходится. Правда? Пока ты не расскажешь про Анжелику.

— Спасибо, мать.

— Тоже верно, — вздыхает Гарик. — Ну, а ты, Нинок, про какую сплетню?

Нинка воздуха набрала и излилась про Алешандру, что такой красавицы отродясь не видела, чтоб живую, не на картине, и какая та умница во всех ракурсах, и глаза у неё таким светом светятся, как маяк в ночи...

— Это я поэт?! — говорит ей Гарик.

— Так а сколько ей, Ваня, лет? — вопрошает Нинка.

— Ну а сколько ей, Нина, лет?

— Ну, не знаю. Может быть, тридцать?

— Вот пускай так и будет. Тридцать. В чем проблема? Не нам же, отцу ж с ней жизнь коротать.

Не бог весть, какая сентенция, почему-то пришла всем впору — для улыбок и передышки. Незаметное напряжение, незаметно включившись минутами ранее, незаметно и отключилось. Ну а Нинка про Алешандру, даже страшно остановить, с таким рвением дифирамбы воспеваает Ниночка Алешандре, скромной девушке из Бразилии; молча слушаем с

полминуты и вникаем с лёгкостью под напором Нинки мы в гармонию личности моей мачехи, и нас гордость переполняет от того, какая ж она у нас, как нам с ней повезло всем и всё такое; и умна она, как философ, и на всех языках она бойко шпарит, а тембр голоса, закачаешься, а танцует, как Соломея, нет, ну нафиг, она танцует, как никто и никак иначе, как богиня, вам говорю... Фух, дослушали, не сбивали, сама выдохлась и умолкла; и прониклись, и прослезились; это ж надо, какую жёнушку оторвал себе батя под юбилей.

А Багира мне вдруг сказала:

— У меня странное чувство, будто я с ним всю жизнь знакома, с отцом вашим. И с Алешандрой. А у вас не возникло сейчас вот именно ну такой как будто щекотки, будто мы это как они?

— Ну давай, Багира, перекрещу. Когда кажется, люди крестятся. Ты ж буддистка. Я помогу. Подставляй свой лобик. И вот тебе крестный знак.

— Напилась? — спросила Багира.

— Это вряд ли. Всё нервы, Дуся.

Анжелика спросила:

— А будем мы про меня? Или всё? Момент упустили?

Наконец и мне стало весело; самурай умри и сражайся, но «Смирновка» внесла коррективы, и раж битвы, вдруг потеснясь, уступил своё место завязности карнавала, а в кружении карнавальном всё само собой получается, не бывает, чтоб не случилось.

— Упустили, Джикочка, разумеется. Но, скажу тебе, не беда.

— Так и знала! — воскликнула Анжелика. — Вот же, Ниночка вы Ивановна, удружили мне в самом деле!

Нинка только руками и развела, и краснеть не надумала даже. А Багира сказала:

— Да всем несладко. Анжелика, ты не сердись.

— Хорошо тебе говорить, мать. Не тебе ж терапию прервали на самом на интересном.

— Цыц! — сказал им. — Причин для печали нету. Зря мы с Гариком, что ли, боевыми ходили тропами по Анголам да Эфиопиям? Зря мы, что ли, кровушку проливали? Порох нюхали, что ли, зря?

— Женераль! Да хорош стебаться.

— Я всего лишь хочу сказать, что не бросим же Анжелику. Анжелика, тебя не бросим посреди затеи затейной. А исправно исполним долг до конца. И тебе про тебя доскажем. И тебе мы тебя покажем. Все причины твои с мотивами, Анжелика, твоё бесстыдство, вот увидишь, сейчас мы вытащим из тебя на свет под торшеры с люстрой. Тут и выставим напоказ для тебя самой и для всех, кто тут почему-то есть, хоть никто не зван. Это к слову, так. Ты готова, Джика, к тому, что предстанет взорам?

— Я готова уж битый час. Битых два часа я готова. Столько ж топчемся, просто сил нет.

— А меня, как всегда, любопытство гложет, — сказала Нинка. — Ты пьянешь, Ваня, или стебёшься? Ну скажите, девочки, он бывает пьяным?

— Женераль, ты слово берёшь?

— А давай в два рупора, чтоб бойчее.

— А давай. А давай для храбрости? Вам как, девушки? Освежить?

Кому как, никто не в отказе. А меня кружит карнавал. Дар Событий с люстры грозит мне пальцем.

— Разговор для взрослых. Прочих на выход.

— Это правильно, — сказал Гарик. — Слов из этой песни не выкинешь.

И, конечно же, Нинка вякнула:

— А до этого был для маленьких?

Анжелика с Багирой так глянули на страданицу, что понятно той и без слов: «Шла б ты, Нина, домой, пожалуй».

— А давайте я закурю!

Протянул ей раскрытую пачку «Явы», зажегалку поднёс и кита придвинул. А сам с кухни ещё не закуривал, привечал в себе водку нового дня. Нинка дым в потолок пустила, в потолок и глаза уставила; не закашлялась, отстранилась.

— Обещаю молчать, как рыба.

— Благородно, — сказали девушки.

— Ну, приступим, друзья, — Гарик клифт расстегнул. — Добрались мы до самой сути. Женераль?

— Полковник? Мечталось ей, Анжелике нашей, не просто так, чтоб Южанин избавил, а *как* избавил.

— Совершенно верно, — сказал Гарик. — И просто в жилу. *Как* избавил? Не разговором же. Так о чём же она мечтает? Что ей первым идёт на ум, когда вспомнила о Южанине?

— Не вообще, когда вспоминает, — уточняю во славу истины, — а конкретно вот в этом случае.

— Да, под гнётом необходимости, чтоб избавиться от оскомины. Женераль?

— Полковник? Да так избавиться, чтобы новой не заработать. Потому как уже ж по рукам ходили,

предавались уже ж утехам с одной целью. Похерить ужас. Что за ужас? Полковник?

— Мон женераль! Ужас тот, что ворвался в девичью душу, когда Рэмбу изрешетили, а она с ним была под ручку, каблучками стучала рядом. Женераль?

— Полковник? Щебетала как раз про светлые планы. Ну а он щекотал ей шепотом шейку. Ну и тут как раз его пиф да паф! Полковник?

— Женераль? Тра-та-та его. Тррра-та-та-та! И бабах контрольный в лобешник. Мон женераль?

— Полковник? Убийца ей глянул в душу, Анжелике нашей отчаянной. Запустил туда демона мимоходом. Словно кинул в рулетку шарик. Полковник?

— Мон женераль? И рулетка трещит и вертится, а демоша шариком прыг да скок. Да, Иван? Прыг да скок! И застрял наконец. И застрял как не надо. А в раскоряку. Так застрял, что не дышится Анжелике с таким демоном у себя внутри. Женераль?

— Полковник? Демон ужаса и похабства. Демон чувства вины за всё. И за то, что было. И за то, что не было. И не будет. И не предвидится.

— Пацаны, вы гоните? — Нинка пыхнула в потолок дымком явовским. — Я молчу!

— Нехороший, короче, демон, — сказал Гарик. — Долго с ним, с таким, не протянешь. Сognёт в погибель. Да, Анжелика? Правда, Иван? Багира? Ниночка?

— Мне нельзя, — ответила Нинка. — Я курю и только. Вань, дай ещё одну.

Вышиб я сигарету из твёрдой пачки, и губами поймал её на лету; прикурил, затянулся разок-другой и в двух пальцах фильтром вперёд протянул Смолихиной, наклонив Багиру. Нинка мне улыбнулась, как год назад. Анжелика сказала: «Вот обо-

жаю!». Ну, а Гарик схватил три яблока и жонглировал ими секунды три.

Анжелика ему ответила:

— Правда, Гарик. Сognёт и выплюнет. Не в свободу. На свалку, на городскую.

— Женераль?

— Полковник? И тогда Анжелика вспомнила, как Южанин тем её летом выручал её от депрессии послешоковой.

— Полагать надо, — сказала Нинка, — что клином клин?

— Полагаю, что угадала, — сказал я. — Ну, а тоном, Нинка, своим воняешь. Продолжаешь вонять. А зря. Доиграешься, прогоню. Навсегда обещать не стану. А на год ближайший, так запросто, — и махнул на неё рукой, чтоб молчала в тряпочку. — Помолчи, сестрица сестрицы. Как друга прошу, помалкивай.

А Багира спросила:

— Так а что ж она, Ниночка, угадала? Бог уж с ней, Иван Александрович, с интонацией.

— Угадала? Угадала, Саррочка, про клин клином.

— Это как же?

— А очень просто. Извлекал из штанов тем летом Южанин хуй. И без всякого дубликата.³⁰ Хуй бесценный. Сам по себе.

— Ну поехало! — Нинка буркнула.

Ей простилось. Не до неё.

— Раззадоривал свой бесценный до алмазной Южанин твёрдости.

³⁰ Я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза... (В. Маяковский «Стихи о советском паспорте»).

— Ну не сам, Нинок, он себе дрович, — сказал Гарик голосом гипнотическим. — С Анжеликой на пару они трудились, приводили его в чемпионский статус. А то как же? Мы всё приемлем, как нас учат учителя, но однако ж не чествуем онанистов. Женераль? Не чествуем?

Я кивнул:

— Сами можем, коли припрёт. А другим, скажу, не советуем.

Они даже не улыбнулись, так их тема занаяжена, так единственное слово, и короткое, на три буквы, так пронзило своими вольтами и сковало плавность движений. Можно сутками напролёт говорить об этом, и не устанешь; о воздействии интонации на семантику с семиотикой, на значение слов любых и про эти три буквы в частности; про зигзаги нашего восприятия, про нейроны, кванты и мироздание, что сложилось по принципу наших нервов, или нервы ему в подобие; мы всего лишь про слово «хуй», кто не знает его, не слышал? кто не видел написанным в лифтах, по сортирам и на заборах? таких нет, господа присяжные, таких, мамочка, просто нету; а вот скажешь не к месту вслух, и все в ступоре, словно гром, словно молнией шандарахнуло; а чего ж такая белиберда? а хотите знать? а я вам скажу: а *того*, господа присяжные, запишите себе: «того!»; жизнь сама по себе секрет, ну и всё в этой жизни тайна: ветры, шорохи, тигры с мухами, фрукты, ягоды, помидор, телефон, мотыга, метро и опера, и вся музыка, что внутри, и вся музыка, что снаружи, сфер звучание и капель из крана, ДНК и, конечно же, РНК, ногти, волосы и ресницы, хромосомы и Хиросимы, Нагасаки и вурдалаки, и кикимора

на болоте, домовые и привидения, и звонок почтальона в дверь, пуля дура и штык молодец, почему тот помер, а этот жив, да и помер ли, да и жив ли, почему Париж вдруг достоин мессы, а Москва златоглава, а лист желтеет; штемпель в паспорте и зачатие, водопады, лосось на нересте, перелетные птицы и психи-лемминги, что сигают всем скопом с утёса да в океан и плывут, пока не утонут, и рассветные сумерки, и закатные, почему в тех сумерках не как днём, почему в тех сумерках не как ночью, почему для пуговицы петелька, и почто Елена сгубила Трои, почему мне нравится Одиссей, а Георгий схож, как брательник младший, с Джеймсом Бондом и д'Артаньяном, с Шоном Коннери и Жаном Маре; и одни лысеют, другие нет; хвост павлина и Микеланджело, Бонапарт, Ватерлоо, Бородино, взят Берлин и встреча на Эльбе, застрелились Фадеев с Хемингуэем, а другие не застрелились, крест на куполе, полумесяц на минарете, крыша пагоды, блиндаж в три наката, пулемёт «Максим» и фата невесты, и количество карт в колоде, и куда уходит вчера, и куда девается завтра, становясь обычным сегодня, и откуда оно берётся, и в конце концов где же Бог живёт, на Олимпе или повыше, или всюду, где только вздумает, ну, а может быть, Бога нет; аромат прибоя и крики чаек, и во снах полёты, и щепки от топора, труд пчелы и вкус мёда, медведь в лесу, Серенгети, масаи, догоны с их космогонией, и волшебная звезда Сириус, Ориона пояс, Сфинкс с пирамидами, и значок октябрьский и комсомольский, ордена с медалями и знамёна, глина рыжая, глина белая, серебро, золото, алмазы, платина, свинец, олово и уран — всё загадка, и мы туда же, мы часть тайны необъяснимой, ну, а к нам в

придачу сюда и хуй, сам сусам, а к нему и слово, значит, «хуй», такое вот непреложное, как ни скажешь, всегда как новое, и хоть плачь, хоть смейся, по нервам бьёт. Я ж придал ему интонации, чтоб подкинуть ему весомости, как у паспорта у поэта; Маяковский же, рубль за сто, это там и имел в виду, болт в томате подсунул всем вместо паспорта, потому и достал его не откуда-то, а, как правильно, из штанин и, конечно, широких, ведь тот немаленький — всех в виду поимел поэт, и за это снимаем шляпу. Вот и я на такой фасон из штанин Южанину хуй извлёк — прозвучал, как с трибуны он пролетарской.

— Этот принцип не подведёт, — сказал Гарик всем в разъяснение. — Мы привыкли по обстоятельствам. И за нами не заржавеет. Если надо, да, жене-раль? Значит надо. Другим не надо.

Тут нам сделалось с ним смешно, и мы коротко посмеялись. Но с пинг-понга и с нити действия было нас уже не свернуть.

— И зачем же Южанин, скажите на милость, из штанин широких тем летом жарким доставал свой хуй, а? — спросил всех Гарик. Спросил строго, по-пролетарски. Ко мне тоже вопрос его обращён. — Каковы, камарады, соображения?

Представляете? Не ответили. Даже паинька Анжелика. Отмолчались все. Даже я.

— Так и думал, — сказал нам Гарик. — Как до хуя, так все в кусты.

Нинка пыхнула дымом «Явы» и, пожалуй, что приосанилась. Слово это входило, впрыгнуло, тут во власть и творило метаморфозы.

— Ну, а ты, женераль, как думаешь? Что Южанин имел в виду? Куда метил? К чему клонил? И на что, женераль, рассчитывал?

— А не праздный вопрос, Ангола. Потому как, смотри, тут тонко. Ведь казалось бы только вот нашу дурочку сам и выручил, сам и вытащил из-под самого паровоза, из-под самых его колёс, хотя он уже и наехал, только вот что не переехал.

— Прямо выхватил по-геройски, — кивнул Гарик. — Вопросов нет. Паровоз погнул, но сберёг девчущку. А не то б, женераль, сходила б со свистом под кодык морячков завзятых.

— Так вот видишь, в чём тонкий лёд? Сам избавил и сам накинулся, аки зверь голодный. Для себя отбил, получается? Для своих похотливых склонностей? Так выходит, ежели вдуматься? А не вдуматься, так тем более.

— Вот сейчас мы и разберём, — сказал Гарик. — Где подвох, а где правда-матка.

— Да тут нечего разбирать, — подала Анжелика голос. — И подвоха ни в чём тут нету. Ты меня, пардон, своим хуем спас. Это правда, девочки, не пугайтесь. Разогнал всех демонов. Просто выпер. Это факт. И он непреложный. Сперва тело спас кулаками, после душу, и это хуем. Вот поверьте, я вам тут, как на духу.

Воцарилась прекрасная пауза, как бывает только на сцене. В жизни редко. Но вот, возникла. От сердечности слов, что сказаны. Это к теме об интонациях, о мотивах и подоплёках, что меняют звучанье смыслов.

Помахал котлом, давно два проехали; я пробил нам бом в получасье. Половина третьего, дамы и господ.

— Молодчина ты, Анжелика! — сказал Гарик. — Очень в жилу твоя нам реплика.

— Так опять же уста младенца, — сообщила Нинка сквозь дым. — Чистый вэритас, без воды.

Ей не стали пенять на это. Анжелике Гарик сказал:

— Сократила нам путь изрядно к месту нашего назначения.

Анжелика сказала:

— А сейчас ещё сокращу.

— Женераль, наш хлеб отнимает?

— Ну зачем? Свою булку хавает.

Он кивнул:

— В добрый час, малышка. И что услышим?

— Я давно поняла уже, куда вы нацелились. Ну, по крайней мере, предполагаю. И давно согласилась. Вы видите всё насквозь. Мне ль не знать? Вы ж всё-таки про меня тут. Правильно? Не про Клару же Будиловскую.

— Это кто? — спросила Багира.

Нинка, Гарик и я с Анжеликой, мы все дружно расхохотались. Вот же мощная штука у нас фольклор. Мой родной город-порт у моря, место силы ты для своих и обитель чудачеств-эндемиков, кои в прочих местах на планете не водятся. Много лет все заборы в городе, все столбы и стены домов украшать затеялась надпись, от руки, то краской, то мелом; основных её два варианта: по одной сентенции Клара Будиловская всем сосёт, по другой Будиловская Клара блядь, что могло б вытекать из первой, но так

автору не казалось, тяготел он к разнообразию. Поначалу никто не гадал особо, есть та Клара на самом деле или то поэтический чистый образ, но потом прознал город слухами, что и в самом деле живёт такая, и совсем она не такая, а ей мстит отвергнутый хахаль, или бывший супруг, или тайный доброжелатель. Шутка юмора затянулась; становилось всё больше надписей, они просто уже повсюду, и милиция превзошла себя — изловили таки похабника и заставили всё смывать, да ещё впаяли два года, ну, во всяком случае, так полагал народ. Оказался водила из таксопарка, а другие знали, что булочки развозил, а по третьим рулил поливальщиком, поливал мостовые и тротуары; предавался письму наскальному он ни свет, ни заря, в отсутствие соглядатаев. И исчезли вскоре все надписи; можно где-то найти ещё на окраинах. Ну, а имя живёт в народе, и скабрёзным боком, и драматическим. Вот, как видим, и кишинёвка с ним знакома вполне уверенно.

Вчетвером Багире наперебой мы поведали вкратце сию историю и пришли в немалый ажиотаж, и пустились в повторное обсуждение, так что всё ж отвлеклись некоротко, и гадали наперебой, что ж с ней стало, с несчастной Klarой, удалось ли сменить фамилию и уехать нафиг отсюда, и подальше, на остров Фиджи, иль хотя бы на Занзибар. И как только мелькнуло Фиджи, я впаял им любимое Rerevaka на Kalou ka Doka na Tui, а Гарик не погнушался и довёл непонятливым, чтобы поняли, это, девочки, вам, а вот что, а чти Бога, значит, и, значит, честь королевы. Ну а я запустил нам ещё такой ракурс: это как же

было Кларе к себе относиться надо, чтоб допрыгаться до такого вот происшествия.

— Что внутри ведь, девочки, то снаружи. Что снаружи, девочки, то внутри.

— Лао-цзы? — спросила Багира.

— Трисмегист Гермес, Багирочка, Тот Гермес Трисмегист. Вы в спецшколе не проходили?

Она глянула на меня с испугом, но для ясности тут замнём. И до трёх часов ни о чём болтали. Я пробомкал нам трижды, и стало тихо.

— Я хотела сказать, — Анжелика сказала, не дав Гарику рта раскрыть, — если можно снова ко мне вернуться, я хотела сказать вам, что там нас трое. Не надо, Ваня? Или здесь можно?

— Это где ж вас там столько вот набралось? — спросил Гарик. — С какого места, малышка, в карьер взяла?

— Да не в карьер. Вы сами же говорили.

— О чём, малышка?

— Да, Джика, мы не успели.

— Ну, мальчики! Как сказать вам? Ну вспомните. Про труды по доведению до алмазной твёрдости. Так понятно?

— Анжелика, ну ты боец! — сказал Гарик. — А давай, малышка, я на тебе женюсь.

— А давай мы сперва про меня доскажем. Потому что просто уже, поверь мне, ну смотри вот, ну невтерпёж уже. А потом обсудим всякие матримонии.

— А какие слова! Ну просто приём в Вестминстере.

— Да, словами Бог не обидел. Но вы тоже, смотрю, умеете. Разве нет? Когда не морочите головы бедным девушкам.

— Ты про слово, что из штанин?

— Джика, что ты сказать хотела, когда стала ты говорить?

— Так а ты ж не сказал, а можно ли.

— Значит так, подруги товарищи, — сказал я и хлопнул в ладоши; чёрт, заразная эта штука. — Анжелика хочет вам объявить, что лямур дэ трау для нас не в новинку. Я вас правильно понял, студентка четвёртого?

Анжелика пожала плечиком и тряхнула кудряшками влево-вправо.

— И дэ факто она, пожалуй, права.

— Ты пришьёшь к дэ трау дэ юрэ? — удивилась искренне Нинка.

— Если надо будет, пришью.

— Если надо будет, пришьёт, — сказал Гарик. — А ты не знала?

Нинка лишь головой качает:

— Ну и кто бы тут сомневался?

— Там тем летом с нами была Маруся, — сказал я. — Вот что умничка Джика вспомнила. От начала и до конца. От обрыва и до вокзала. Мой чистойшей души товарищ. Алифханова Мариам. Она Джикку по сути выходила. Не я. Я был сбоку-припёку.

— И где же, Ваня, твоё дэ юрэ?

— А скажу тебе, Ниночка, коль неймётся. А дэ юрэ оно такое. Мы вдвоём с Марусей лечили Джикку. А не мы втроём все трахались в дэ трау. А большая, Ниночка, разница. Кто понимает.

Анжелика сказала:

— А это правда. А так и было. Южанин с Марусей, девочки, проводили мне процедуры. По другому, девочки, и не скажешь. Угодила в светлые руки.

— Угодила на светозарный, малышка, хуй, — сказал Гарик. — Тут в этом дело. Мы южанинскому сейчас дифирамб споём.

— Боже, Гарик, ты как с ориентацией? Вазелин ещё не пора?

Запрягаем долго, но ездим быстро.

— А пошла-ка, Нинка, отсюда вон! Проводи, полковник, и возвращайся.

— Да чего ты, Вань? Да что я сказала? Шутят все, вот и я шучу.

— А того, Нинок, что пизда ты глупая. После тоста на кухне ни слова доброго. Ты чего себе, блин, надумала? Тебе нечего больше здесь. Проваливай. Поднимайся, и ложки в руки.

Ну, понятно, тут нам и пауза. Ну, понятно, неловко всем. Все глаза, кто куда, в потолок да в пол, да по книгам на полках скользят бессмысленно. Но такое учитывать дело праздное. Никому не поможет, а вред лопатой.

И зардевшись, как только она умеет, а под этим и побледнев, мне из кресла сказала Нинка человеческим вполне голосом:

— Ну, а можно я, Вань, останусь? Не гоните. Я перестроюсь. Правда, я не права. Я знаю. Ну, оставьте. Не пожалеете.

— Ничего не напоминает? — спросил Багиру.

Тем не менее, тишина. Даже Гарик, верный товарищ, не позволит себе вмешаться. Я ж наехал. Причём тут он. Не работает тут причина, что вступился я за него. Всем же ясно, за всех вступился. Много тонкостей тут таких, по которым топтаться у нас не принято. Вот настало время мне закурить. На

часах три двенадцать, самое время. Затянулся, сладко после аскезы, как ни как, три с хвостиком не курил.

— Ну, конечно, так, Нина, лучше. Все на месте и миру мир.

— Обожаю вас, сударь мой! — восклицает Багира радостно. — Так, как вы, ни за кем не видела, чтоб проехать, как будто не было.

— Не тот случай, Дуся. Вот зря торопишься.

— Так а что ещё?

— Помолчи, узнаешь.

Помолчали. Я затянулся. Сладок дым, да пора на сцену.

— А зачем тебе, Ниночка, оставаться? Повторится ж снова. Заело ж песенку.

— Нет, Ванюша, клянусь. Сменила пластинку. И вообще хотела бы извиниться.

— Извиниться? В смысле, сказать слова?

— Ну, а как ещё? Простите, пожалуйста. Переклинило с непривычки.

— Нет, слова, Нинок, не канают. Мне б сошло ещё, но у нас симпозиум.

— Ну, а что канает?

— А ты разденься. Вот и всё тебе извинение.

— Ты всерьёз?

— Ну, странная была б шутка. Всё равно все разденутся. Будешь первой.

— А скажу, что месячные, поверишь?

— Не поверю, поскольку врёшь.

— Это правда, Ванюша, вру. А тут холодно.

— А тут жарко.

— Женераль, ты что, передумал?

— Да, полковник, я передумал.

— Ну, не знаю. Я, может, всё-таки провожу?

— Да не надо, Гарик. Спасибо, Гарик. Я хочу остаться. Я дама взрослая.

— Ну, дела, камарады! А мне как быть? У меня настроения никакого. Я трепаться рад, а не писю мучать.

— А к тебе, Ангола, что за предъявы? Это ж наш колхоз. Одни добровольцы. Одичал ты, что ли, по Сингапурам?

— Ну, выходит, что одичал.

Гарик был, понимать приходится, и как водится, в своём амплуа. Он охотник до мозга костей, по жизни. Ему требовалось догнать, наохотить, подмять, добиться. Он терпеть не мог, чтоб само шло в руки. Потому весь вечер и притормаживал. Моим гостьям то невдомёк. Ну, а мне что? Поток пусть движет. Как сказал он? Мы всё приемлем, как нас учат учителя? Ну, пожалуй, что и не выдумал.

— Понимаю, — сказала Нинка. — Люди добрые, понимаю, уповать на пощаду тут голый номер? — поднялась из кресла. — Сейчас вернусь.

Я сказал ей вслед:

— Раздеваться здесь. В коридоре и Гарик может.

— Да я всё поняла. Поняла я, Вань.

И она утопала в темноту.

— Ну, Иван, и чего удумал?

— Ничего. Просто хамству бой. Прибежала на мне жениться. Чтoб ты понял.

— А кто не понял? Только, может, жесьть поубавим?

— Да я б женился. Ну, ты же знаешь. Но обстоятельства, — и широким жестом в широком же рукаве я обвёл честное собрание. — Да, Багира? Мы ж не нарочно?

Ну вот тут ей в самую пору пришлось пожимать плечами обоими, и открытым, смуглым, призывным, гладким и подвижным, как у пантеры, и другим, на котором туника бордовая повисает, чтобы не пасть к ногам. Вот такой ответ у Багиры в два плечика на нарочно мы или нет.

— А давай-ка, Дуся, с пуфика в кресло. На правах любимой наложницы.

— Ну, не думаю, — говорит Багира. — Нина ж может вернуться голой.

— Нинка может нафиг свалить по-тихому, — сказал Гарик. — Вот это Нинка!

— Голой, Дуся? Так чем же ей пуфик плох? И вообще сказали здесь раздеваться, а не вообще. Не парься по пустякам. Ты и так за неё горой. Довольно. Чеси в кресло, там кочумай.

— Вы уверены? Она ж снова к вам прижиматься станет.

— Полагаешь? Тебе-то что? Не к тебе ж.

— Он, Багирочка, Ваня справится, — сказал Гарик. — На него, Багирочка, как залезешь. Посуди сама. Ну, а хочешь, со мной на пару.

Багира вздохнула, переставила приборы и села в кресло; и надела заново каблуки. И пока она с этим возилась, Анжелика нам говорила шепотом, что вообще-то, чтоб не подумали, только с Нинкой ей не хотелось бы, и не то, чтобы что-то там, не подумайте, а при ней, только вы не смейтесь, а при ней, при Ниночке, получается, что похоже, что Анжелика, вроде как, не поверите, комплексует как перво-клашка, ничего поделатъ с собой не может, уж и так, и эдак, а не проходит; вот привыкла «Нина Ивановна» и хоть кол теши. Багира воскликнула:

— Лика! Ликочка, что я слышу?! Про тебя б уж вот не подумала.

— Представляешь, мать? Такая проруха. Только ж вы ей уж не скажите.

— Знаешь, Джика? — сказал я ей. — А ты, Джика, давай справляйся. Контролируй! Твои же глупости? Вот давай их и контролируй.

— Да легко сказать! — она нам сказала.

— А откуда взялось легко? — спросил я тихо, но грозно. — Это ж кто сюда такое притарабанил? Вспомни, Джика, и ты, Багира, уразумей, что совместный целебный секс, тот, который терапевтический, это труд, друзья, чтоб он был здоров! Труд упорный, исполненный уважения. А не голой жопой с горки, зажмурившись. Вопросы? Вопросов нет.

— Да я помню уроки все, Ваня, ваши. Наизусть. Ни полслова не позабыла.

— Ну и паинька. А будет, как будет. Или не будет. И не будет тоже, как будет. Не морочь зря, Джика. И без тебя.

— А давай-ка, Малый, напьёмся. Право слово, поступим мудро. Ну смотри, ну не катит сегодня лямур тут. Никак не катит. Скажешь, нет?

— А я не хочу гадать. Пару дней, как, Гарик, с потоком движусь.

— Молодцом, Иван! Ну и как поток?

— А не дёргайся и увидишь.

— Вот же, блин, мракобес от Дао! Ну, харэ! Поживём, увидим. Наливать?

— А то!

И я бомкнул им полчасае.

— Полчетвёртого. Насыпай.

— А она ушла, — сказала Багира. — Как-то грустно даже. Вы не находите?

— Некрасивенько получилось, — говорит Анжелика. — Из-за меня? Вы со мной возились, и вот.

— Джика, солнышко, в этом доме чувство вины не празднуют. В этом доме празднуют правду чувств. Смелость, дружбу и покаяние.

— Так я каюсь.

— Ты погоди.

— Почему?

— Потому что сказал Южанин, — сказал Гарик.
— Делай, как он сказал.

— Так а что мне делать?

— А ничего, — сказал я. — Сперва выпьем. Потом тебе про тебя доскажем.

— Правда?! Нет, ну вы просто рыцари!

— Гранд мерси, мадемуазель. Да из ваших уст.

— Да нам просто нравится выпивать, — сказал Гарик. — Да, женераль? Нам что рыцари, что не рыцари.

— Не без этого. За тебя, мой друг! За самого самого!

— Вот те раз!

— Помалкивай.

Звонко чокнулись, тихо выпили.

— Можно я схожу погляжу? — спросила Багира.

— Не сидится в кресле беглянки?

— Это нет, нельзя?

— Это да, нельзя.

— Ясно, судари. Вы Нину лучше знаете.

— О! Вот это вот в точку, Дуся. Анжелика, ты вспомнила про мой хуй...

— Да, верно.

— ...потому что за столько лет он из хуя давно стал мифом...

— Я не думала, но пожалуй.

— ...и обрёл в твоём представлении атрибуты для экзорцизма...

— Просто в жилу! Как Гаричек говорит.

— ...он по сути в твоих мечтах и предстал экзорцистом во всеоружии.

— Верно, Ваня. Как это верно! Багира, Гаричек! Повторюсь. Просто в жилу, мои любезные!

— Полковник?

— Мон женераль? Дальше просто, мальчики, девочки. Раскачала в себе кураж и примчалась впихнуть в себя экзорциста. И повыпихать им из себя всю хрень. Из себя всю хрень выпихнуть да повыпихнуть бесподобным Южанина экзорцистом, чтоб другим неповадно было. И умчаться, значит, сказав спасибо, восвояси, прямо как новенькой и готовой к новым употреблениам.

Анжелика трясёт кудряшками:

— Оно так. Но звучит неласково.

— Погоди-ка, это не всё. Женераль?

— Полковник?

— Мне продолжать?

Я кивнул и достал себе «Яву» из твёрдой пачки. Кивнул и Гарик, и он сказал:

— Но картину, Малышка, ты тут застала совершенно не ту, что знала, и к которой была готова. Там, коль он снизойдёт, Южанин, то лечили б тебя в номерах или где-то на зимней даче, прихватив с собою рефлектор. А застала ты, что застала. Нафиг новую диспозицию. Женераль?

— Полковник?

— Да? Ну как знаешь. А застала ты, Анжелика, тут Багиру, какой ещё свет не видывал, да без Лидки, Ваниной феодалки, и Южанина на свободе да в своём наконец дому. И мечтать о такой удаче не могла бы вот даже, если бы. А тут на тебе! И бесплатно. Женераль?

— Полковник?

— Ну ты даёшь! Хорошо, продолжу. Анжелика в таком раскладе мигом вспомнила про Марусю, про Алифханову. Как да что там было тем летом, да как сладко. И как полезно! И ничтоже сумняшеся, приторочила к своим новым мечтам Багирочку. Ну, а кто б в таком себе отказал? Если он, конечно, себе не враг. Ты вот, мон женераль, отказал бы себе в таком?

— Полковник?

— Ясно. А Маруся, кстати, а ты с ней видишься?

— Как-то виделся, но давно уже. Года два тому, полтора. Когда шухер весь с Америкго.

— Да, прошлась по тебе Лидок. Опустели угодыя. Скажи, Иван?

— Не скажи, Ангола. Вот Джика, взял не хочу. Это к слову, Джика. Хочу, конечно. Вот Багира запрыгнула жизнь коротать и сражается как пантера. Не рискну сказать, старик, что тут пусто.

— Это, дядя, ты в передёрг. Чисто шулерство да и только. Анжелика с Багирой не проканают. Они встык, а не в зоне действия. Даже Нинка не проканают, что б там ни было у вас с ней. Это, Малый, считай, за скобками. А вот в скобках, от сих до сих, там, где Лидочка, от и до, там Чернобыль, брат, да и только. Ну признай. И свалим с базара.

— Вот пристали! Она про Гернику, ты про Припяць. Да чтоб вы всрались!

— Кто она?

— Нинок. Да какая разница? Ну проехала. Да, проехала. Ну прошла по мне. Да, прошла. Долбоёбом быть надо, чтоб отрицать. Так а в чём проблема? Чего ты впился?

— Да ни в чём. Пардон, женераль. Просто вспомнил Марусю и огорчился.

— Значит, так, Анжелика, — сказал я бодро. — О Марусе, кстати, да? Гарик прав. Заместила её Багирой. Прямо сразу. Ещё в прихожей. И сменила сюжет на новый там в сценарии в голове своего со мной исцеления. Охуения. Возрождения. И приспичило тебе с нами. Так приспичило, что вот маешься. Ни о чём другом не можешь и думать. Даже спиздила вот алоэ, чтоб в труа не с пустыми ручками...

— Ну ты, Ваня!

— Ну вы, сударь мой!

— ...Подавай тебе нас для Тантры, а потом трава не расти.

— А потом не расти алоэ! — сказал Гарик. — Да, Анжелика?

— Ну вы циники, мальчики!

— Да, безжалостно, — говорит Багира. — Они, Лика, аплокионы.

— Нет, Багирочка, уж уволь, — сказал Гарик. — Я Ангола я. Мне хватает.

— Знаешь, мать, в чём ужас и красотища? Они ж правы аж до молекул. Аж сюда вот до самой матки.

— Знаю, Лика. Я ж тут сижу.

— Я не маюсь, Ваня. Я изнываю. Ну так как, снизойдёте до бедной дурочки? Вы ж не бросите меня, правда?

— У меня стои́т, Анжелика, но я не буду. Уж прости, малышка. Не мой кураж.

— Гарик, милый, я и не жду. Ты и так помог, как я не ждала. Вот, как видишь, вопрос открыт. Не закрыт пока, а открыт пока. Это наша с тобой виктория! Разве ж нет? Я б сама не справилась.

И смеётся и чуть не плачет.

Нам сюда бы сейчас явление по законам драматургии, принца Датского тень отца, чтоб отвлечься, значит, да поразвлечься, перестать толочь воду в ступе и сменить нам перипетию, повелительницу контрастов. Нам, прозаикам с драматургами, и всем прочим, куда б ни топали, без неё, скажу вам, что никуда. В ней кураж и новое знание, в ней как раз бытие клокочет, оживляя наш скучный быт. Я пробомкал четыре раза, помахав котлом для порядку, и потом, без второго слова, поделился с честным собранием, как души не чаю в перипетии; и поведал им, что за штука, что за дивный вздрог бытия то и дело нас будоражит — в турбулентность из ламинарности, через тернии к звёздам, сквозь звёзды в тернии, из огня да в полымя, с корабля на бал и обратно на борт и штормам навстречу. Я в седло вскочил своего конька и пустил нас с ним в аллюр по верхам, чтоб поведать компании в двух словах, как самой же перипетии среди нас живётся не тужится; вот у греков в их Древней Греции означала она другое, означало, что вдруг удача подевалась так, что не сыщешь; то, дружок, тебе, значит, боги удружили за то, что ты был излишне самоуверен.

— Как не вспомнить тут Одиссея! Удружил ему Посейдон.

— Да никак, — сказал Гарик. — Давайте вспомним. Наливать?

Мы выпили. И всё правильно: а никак. Не забыть, что за тем, что боги реагируют так исправно на прискорбное наша чванство, отнимая у нас удачу, так оно б ещё ничего, но за этим следует Немезида,³¹ а вот это уже чего; и вот это бы не забыть бы. Немезида, кстати, ещё и маменька той Елены, скажем, Спартанской, ну а можем сказать, Троянской, ну а можем сказать, Прекрасной, коль на то язык повернётся, по чьей милости Троя рухнула, и Гекуба вот безутешна.

— А насыпь ещё по глотку, Ангола.

И до наших дней из тех древних дней докатился смысл негативный нашей славной перипетии; означает у нас в быту перемену в судьбе негодую, перемену в судьбе ужасную, потому мы на это плюнем, хоть три раза, хоть тридцать три, и возьмём себе в применение это слово в драматургии, не побрезгуем Аристотелем, кто увидел в перипетии превращение действия в его противоположность; так вот простенько и со вкусом; ну а нам, сочинителям, в ней приём — неожиданный поворот сюжета, усложняющий, братцы, фабулу, всем на радость и восхищение. Вот такая перипетия. И по этим её законам нам сюда бы сейчас явление, чтоб явилось не запылилось, оживило бы нам симпозиум, придало бы нам турбулентности, и не надо, чтоб обязательно, чтоб совсем уж в другую сторону, нам достаточно новый галс, мы ж не чванились, не пыхтались, обойдёмся без Неме-

³¹ Немезида — крылатая богиня возмездия, карающая за нарушение общественных и моральных норм.

зиды; новый галс нам бы в самый раз. У кого-то тень отца Гамлета вызывает мороз по коже, а кому-то и Нинки хватит; изо тьмы да в свет, не раздетая, а в желтке с горчицей на фоне тьмы, как ушла, такой и вернулась, с просиявшей, правда, мордашкой, может, в душе отмытой, а, может, так, и с улыбкой кота Чеширского, ну уж точно, что не Джоконды, а вполне даже очень в тонусе и в сверкании белозубом, и в янтарной, промытой слезой, лучистости глаз припухших со взглядом дерзким. Приосанился в пятом часу утра новый миг, что, собственно, и прописано в том рецепте, что доктор выписал. Ну, короче, люди, фурор.

Мы с Анголой рта не раскрыли, а девчонки в галдѣж пустились, хоть и громкий, со всплеском рук, но зато короткий и без последствий.

— А вы думали, я пропала?

— Мы забыли, что ты была.

Это кто сказал? Это я сказал. И галдѣж, какой был, и того не стало. Глянул вскользь на Багиру, чтоб та не рыпнулась, а то ж под руку подвернѣтся. Посмотрел на Нинку. А хороша. Паровоз под парами тут отдыхает. Как сказал ей Санька наутро первого дня всё ещё вот этого года после первой с ней нашей ночи, а встречали мы Новый год втроѣм, и, как только Санька задрых, друг на друга мы с ней накинулись, а наутро к нам с ним на кухню вошла Нинка, умытая, новая, во вчерашнем, правда, наряде, Санька рад ей был и сказал: «Здравствуй, Ниночка! Ты опять пришла к нам!».

— Ты опять пришла к нам? — сказал я Нинке.

И она, чтоб она нам была здорова, слѣту вспомнила, о чём речь, и ответила звонким смехом.

Ну, а смех у Нинки как колокольцы, а кудряшки её как ленточки.

— Меня ждали, чтоб раздеваться? Или всё-таки передумали?

Она смело прошла на пуфик и уселась там по-джигитски.

— Ну а можно всё же вопрос? — говорит из кресла Багира с ногой на ногу, каблуком качая; там такие коленки смуглые, от которых, и не захочешь, а захочешь ещё пожить. — Любопытно всё-таки, как бы ни было.

Нинка с лёгкостью угадала:

— Что я делала столько времени? Где была? И на что надеялась?

Все кивнули, все улыбнулись, у кого как вышло; мы всё приемлем. Не дают никому покоя, как смотрю, три вопроса Кантовских: кто я, блин? ну а делать что? и на что же мне, блин, надеяться?

— Была в душе, — сказала Нинка. — Намывалась мылом хозяйственным, как меня приучили в начале года...

— Нет, ну точно, Юг, ты рванул вперёд. В укротители. Из прозаиков. И задолго, видим, что до Баранова. Если правильно понимаю, — Гарик хлопнул себя по лбу, обозначив новую эврику. — А скажи, Нинок, вот по старой дружбе. Ты в чулках теперь? Не в колготках? Угадал? Признайся, что угадал.

— Так увидишь, если не свалишь. Сам увидишь. Чего гадать?

Вот такая вернулась Ниночка. И она продолжила свой отчёт.

— После душа отправилась к Лидке в спальню и крутилась там перед зеркалом. И нашла себя ничего.

Только в ванную воротилась и чуток подбрила лобок. Мне же вкус тут тоже привили. Был не мой, но теперь стал мой.

— Да тебя, Нинула, — сказал ей Гарик, — мой не мой, а оно без разницы. Одинаково хороша! Если только кураж поймаешь.

— Bravo, Гарик! — сказал я. — Не в бровь, а в глаз.

— Это что, оно самое? Compliment?

— Это правда, — Гарик сказал. — Пускай она глаз никому не выколет.

— Я другой не нашла, — сказала мне Нинка. — Я твоей подбрилась. Не обессудь.

Вот такая теперь тут Ниночка. И она продолжила свой отчёт.

— А потом, девчонки, ломала голову, воротиться сюда к нам голой или всё же одетой, как оговорено. И решила всё же одеться, как видим. И оделась, как видим. И вот тогда, тогда, мои дорогие, стал вопрос наконец ребром. А готова я тут раздеться? Без истерик, а чтоб по-взрослому. Как мечтала, может быть, и не раз, втихаря от папы и мамы, чтобы случай такой представился, и я б в грязь лицом не ударила. А мечтать, как знаем, оно не вредно, Анжелика милая, это факт, а проделать, милая Анжелика, тут совсем иной коленкор. И, как Гарик любит сказать, тут я, девочки, и вдохнула.

— Да, там Суровцев и вдохнул тогда, — произнёс Гарик фразу, как на моем веку, так в две тысячи триста четвёртый раз, потому произнёс не нам, а себе для очистки совести. — Вот тогда-то он и вдохнул.

— Да мы знаем, Гарик, — сказала Нинка и продолжила свой отчёт.

А Багира в кресле с ногою на ногу ничего уточнять не стала, и за это ей наше с кисточкой.

— И ломала я, значит, голову, как же быть мне, такой вот дамочке, тёртой, опытной, незамужней и уже вот немолодой, — тут она подняла ладошку, чтоб не дать воспитанным девушкам что-то вежливо возразить. — Как же быть? Не лучше ли мне свалить? По-английски, и до видзення. Ну скажите, дешёво и сердито. Можно даже сказать, заманчиво. Нафига себя сдуру мучать? Ну скажите, ну нафига! Но тогда, а когда ещё такой случай? Чтоб само сложилось, без подготовки. Может быть, что и никогда. Ваня учит спонтанности, так и вот она. Не хочу бери. Не берёшь, беги. Есть, выходит, над чем поломать мозги. И пошла я на кухню, девочки. Там у Вани в столе есть колода карт. Разложила пасьянс любимый. Не сложился, ответил мне: нет, беги. Не послушалась. Карты врут. Ну и вот я с вами. На всё готова. А за то, как вела себя до сих пор, я ещё раз прошу тут у всех прощения. Принимается? Принимаете? А нальёте рюмашку? Не откажусь.

Тут опять галдёж, и за Нинку тост, за такую вот, значит, Ниночку, что себе Анжелика с Багирой и представить бы не додумались; за победу добра над злом; за победу отваги над страхами; за победу света над тьмой; за победу любви и дружбы над любыми вам предрассудками. Вот она нам перипетия, тютя в тютю по Аристотелю. Приосанка пространства по румбам всем. Пьётся снова, как будто заново.

Анжелика, пригубив мускатного, рассыпается мелким бисером:

— Неужели я дождалась? Будет оргия? Наконец-то! Ваня, миленький, дай команду. Чтобы знать, что делать. А то же как?

— Не гони коней, Анжелика.

— Почему? Да сколько ж их можно сдерживать?

— Сколько нужно, столько и можно. Да, полковник?

— Тебе видней.

— Что ты букой, Ангола? Само всё катит. Вот у Джики оргия на носу. Карнавал, исцеление. Праздник праздников! И у Нинки, смотри вот. И у Багиры. Ты ж не станешь им портить праздник?

— Я за вас несказанно рад, — сказал Гарик. — Можно даже сказать завидую. Белой завистью вам по-белому. Молодому азарту вашему.

— Ну, а сам что? — спросила Ниночка.

— Ну а сам что? Дедушка старенький.

— Ясно, дедушка. Наливай. А тебе, Анжелика, скажу я вот что. Нам, чтоб взять тебя в оборот, чтобы с пользой, а не для похоти, нам с тебя ещё причитается про Кирышу. С какого боку он?

— Это, Ванечка, справедливо. Можно ж думать не Бог что вестъ. Я ему не даю, если ты об этом. Я вообще с тех пор как... Давно, короче, никому не давала. И проверялась. И здорова, как Афродита. Словно только что вам из пены. Справка в сумке. Тебе везла. Из кожвена. С печатью, с датами. Принести?

— Покажешь ещё, успеется.

— Ну ты, Ликочка, подготовилась! — ей Багира сказала.

А Нинка ей:

— Молодцом, Анжелика. Совсем по-взрослому.

— Ну а как иначе? Я же не дурочка.

— Так а ты раздеваться будешь? — спросил Нинку я между прочим.

— А зачем я сюда вернулась? Приступить?

— Ну начни, а там видно будет.

— Прямо тут? А на стол не пустите?

— Погодите, друзья. Без обид, друзья, — сказал Гарик и приложил ладони к пиджаку на груди на голое тело. — Я покину вас. Покидаю вас. Моё сердце с вами, а тело вас покидает.

— Посиди, Георгий, — сказала Нинка. — Ну хотя бы дождись, пока я одёжки скину. Я ж для вас, для Вани и для тебя, раздеваться буду. Девчонкам что? Больше зрителей, больше, друг, вдохновения.

— Женераль, ты что с нашей Нинкой сделал? И со мной, понимаю, была с порывами. Но вот это вот, это что?

— Правда чувств, полагаю, Гарик. А что не так?

— И без всякого, Гарик, заметь, мошенства, — сказала Нинка. — Погляди и сам убедишься. Сам увидишь, может, такое, чего прежде не замечал.

— Ну вас в баню, ребята. По полстакана! Укондохаясь, виноваты будете.

Он вернулся с кряхтеньем в кресло и истребовал, раз уж так, сигару. Не сыскалось тут; а ещё у нас вышел диспут, где же Ниночке раздеваться, чтобы, значит, не ошибиться, чтоб из таинства с карнавалом вдруг не вышел бы горький пшик дуракам, как мы с Гариком, в назидание. Не хотелось бы спростофильничать. Порешили в конце концов, что, пожалуй, и в самом деле ползает пускай на стол, ну хотя бы во славу трудов упорных наших с ним по морёному, значит, дубу. И пока Анжелика с Багирой

убирали всё со стола на кухню, наводя марафет на манеже нам и сокрыв неловкость от предстоящего за прилежной их суетой, я пошёл отыскать сигару и сыскал её в пиджаке в шкафу в спальне той, что больше не Лидкина. Освежился наскоро и прикинул наскоро свои координаты, и был вынужден констатировать, что запоя, как не было, так и нет пока. И смешно, и тревожно, и будь что будет.

Застал Нинку на пуфике под торшером, ни весёлой, ни грустной, но одинокой, но зато наконец без претензий к миру.

— Безупречно ждёшь. А куда народ?

— А народ готовится к представлению. Вань, а можно потом, ну, потом-потом, я к тебе приду и с тобой побуду?

— Ну а как ты думаешь?

И она кивнула.

А я люстру нам погасил.

И Нинка кивнула.

Дар Событий из сумерек теперь в люстре упредительно промолчал.

Вот и в сборе все, кроме Гарика. Ну а вот и он, без шлема и без халата, в прикиде полном, умыт, причёсан.

— Ты в театр?

— Ну а как? Со всем уважением, — взял сигару, понюхал. — О, грасиас, камарада.

— А без музыки будем? — спросила Нинка.

— Почему? — я врубил кассетник там, где стоял, и «Война миров» Джеффа Уэйна сходу пронизала пространство и всех, кто тут, громко, ласково и тревожно и взяла с собой бороздить ближний космос и междузвездия.

— Ну вот это я понимаю, — сказал Гарик, раскуривая сигару.

Нинка скинула сабо и встала с пуфика. Гарик руку ей протянул, и она забралась на стол. Повернулась лицом ко мне, а потом спиной ко мне, лицом к Гарик, и качнулась, и повернулась, и ещё раз, и ухватилась за высокий звуков полёт, закружилась в обнимку с музыкой и с рассказчика плотным голосом.

Никогда с ней не танцевал. Вот нашёл же о чем подумать. Бедолагу себе напомнил в анекдоте, тот смотрит в градусник, тридцать градусов, и вздыхает: ёлки-палки, а мне жена повелела быть дома в девять. Вот и я за ним не в ту степь. Да, Дар? Прав Ангола, пожалуй, да? Ну никак сегодня оно не катит. Может, просто перегрузились? Так вот нет же, летать хочу. Непонятно. И, значит, правда. Кати, Нил, и дальше свои нам воды. И ты, Хорол-речка, свои кати.

— Как красиво ты, Ниночка, танцевать умеешь! — почти хором сказали ей обе души.

— Только вы меня не ругайте, — сказала Нинка, и, ухватив крест-накрест желток с горчицей, с корицей, с тмином и имбирём, рванула вверх его единым махом, а Ричард Бёртон тем временем замечательным голосом своего вокального дублёра замечательным образом нас пугал:

The chances of anything coming from Mars are a million to one, he said,

рванула вверх и стащила единым махом через голову платье, и бросила его на пол, и оказалась голой, безо всего, без трусиков и без лифчика, в одних чулочках, чёрных, очаровательных...

The chances of anything coming from Mars are a million to one — but still they come!

и слитно с нервом «are a million to one» шагнула к Гарику, развернулась и слитно с нервом «but still they come!» ко мне шагнула, и снова к Гарику, и опять ко мне, и остановилась. But still they come! И кончилась композиция, и дальше уже Ричард Бёртон своим бесподобным голосом продолжил рассказ: *Then came the night when the first missile approached Earth. It was thought to be an ordinary falling star, but next day there was a huge crater in the middle of the Common*, и так далее. Он продолжил нас будоражить напряженным повествованием, а Нинка танец свой прервала, а будоражить тоже продолжила, и была свежа после душа с мылом, и тугой как тюлень, белизной дразнилась в тех местах, куда солнце и летом не заберётся, и причёсочкой тёмно-каштановой, где подбрила вот только что; а ещё на затылке сложила руки, локти в стороны развела и качнула грудью, и мне и Гарику, и Багире, и Анжелике.

— Провела, значит, всё-таки, — сказал Гарик, пыхтя сигарой.

— Говорила же не ругайте, — стоит голая на столе в обозрении четверых, а беседует, не моргая и руками не прикрываясь; повернулась к Гарику плавно, без несурзанности. — Что смогла уже, Гарик, то и смогла. Я подумала, что с бельишком, снимать трусики перед вами, снимать лифчик, так я не справлюсь. И я думаю, я права, — повернулась опять ко мне, и опять же легко и просто. — Всё же, милые, как ни крути, а это дебют.

— Тем не менее, Ниночка, это блеск! — сказал я и затеял аплодисменты.

Ей похлопали от души. А она на все стороны поклонилась. Ну вошла в кураж гинеколог тёртый!

— Это блеск, — согласился Гарик. — А ты, Нина, похорошела. А чулочки я угадал? Вот сатрап же он, Нинка, да? Ванька, вкуса законодатель.

— Ну, похлопал? — сказала Нинка. — А купюры мне за чулочки что-то, Гарик, не наблюдаю.

Ну вот в этом-то он силён. Всегда был, а теперь подавно. И зелёный, с шелестом, Франклин в тот же миг и протиснулся Ниночке за чулочек.

— Ну вот это я понимаю!

Это вместе они сказали. Нинка мне протянула руку, я помог ей ступить на пол, где она нагнулась за платьем. Анжелика спросила как в детском садике:

— Так а нам уже раздеваться, Ваня?

— Анжелика, — сказала Нинка, просунув голову в свой желток с корицей, а теперь ещё и с клубничкой, не по цвету, по аромату. — Ты нас просто в Одессе удержишь!

— Так зачем же вы одеваетесь?

— Потому что пора домой.

— Значит, всё-таки обманули? Провели, да? На ровном месте!

— Обманула?! Кого? Когда? — наша Нинка в желтке и в сабо отправляется за бельишком; надевать его — не снимать; у двери задержавшись, она смеётся: — Разве я обещала кому-то что-то? Неужели ты в самом деле, Анжелика, хочешь, чтоб я, уважаемый в городе человек, с вами в оргии прыгала б безоглядно с одного вот этого самого на другой, что ничем не лучше, и не хуже, правда, ничем, как какая-

нибудь студентка, как спортсменка вам или школьница? А скажи вот, милая, нафига? И в газетах что завтра будет? И по местным телеканалам, — хохотнула звонко. — Это, девочки, я шучу! А в лечении не нуждаюсь. Я сама, кого хочешь, вылечу. И вот это я не шучу. Ты одет? — обратилась к Гарику, ну а тот всё пыхтел сигарой, маскируясь от Нинки дымом. — Я сейчас. Подожди в прихожей.

И сокрыла Нинку тьма коридора.

— Сколько там? — спросил Гарик.

— А ровно пять.

Я пробомкал пять гулких бомов.

— У тебя, старик, телефон фурычит?

— Ты воткни, зафурычит. Потом только выткни.

Гарик встал в клубах дыма. Гарик выходит.

— Прямо пьеса у нас, — говорит Багира, придвигает пуфик, садится рядом, и колени выше ушей, и берет меня за руку осторожно. — Вам не кажется?

— Точно пьеса! — кивает нам Анжелика. — «Простушка и старцы». Или так: «Простушка, старцы и две старушки». Без обид, мать. Но как-то так.

Говорю ей:

— «Простушка и простаки». Вот название. Залитовано! Этим пользуйся. Не кривляйся.

Я одним ухом слушал, что Гарик делает в коридоре по телефону, а другим услышал ревун над городом, потому что за миг до того кассетник громко выщелкнул клавишу «play» вровень с прочими и умолк, выдав всю нам «Войну миров», и у нас за столом под торшерами, и там за другим столом под зеленой лампой, на полках с книгами, и на шкуре в углу ошкуя, и под люстрой с застрявшей намедни пробкой, стало тихо и диковато, будто прежде здесь

ещё не были, и мы даже переглянулись. И я ляпнул не Бог весть что:

— И кому ревун ревет, и по ком?

Анжелика, паинька, всё читала:

— И не спрашивай. По нам бедным.

— Ну и как вам, девушки, наша Ниночка? Каковы по-свежему впечатления?

Но ответить им не успеть. Входит Гарик, и он хмельной, от звонка, видать, от сигары, от большой, скажу, неохоты провожатым Нинке служить; ну, короче, хмельнее к нам Гарик входит, чем отсюда он выходил. И с порога нам объявляет, что пиджак подарить не может; вот хотелось бы вот, конечно же, Анжелике его вручить как признание одобрения, и Багирочке за знакомство вот, коим он потрясён до основ, до самых, да и Ниночке б тоже пиджак в подарок, Соломее вот новоявленной, всем хотел, но, увы, не может, обстоятельства изменились.

— Не домой я, девочки. Миль пардон. Меня в гости ждут. Со вчера ещё. И дождутся теперь, я думаю. Ну куда мне без пиджака?

Голос Ниночки из прихожей; общий смысл угадать нетрудно: я готова, давай пошли.

— Посошок! — объявляет Гарик. — Мне трубят уже. Посошок! И насыпь мне, Малый, своей рукой. Своей крепкой бойцовой дланью. На удачу. Чтоб не прогнали. В пиджаке там я или нет.

— Ты опять собрался жениться?

— Ну зачем ты так? Это грубо.

Я налил ему и себе. По два булька. Дурацких нравочений избежал, не особо нам толку в них. Ограничился парой слов.

— Ты устал опять? Может, ну его?

— Окосел чуток? Так придаст мне шику. Не полагаешь?

— Полагаю, что гости б перенести.

— Не годится. После звонка. В пять утра. И ждут. Ну, сам понимаешь.

— Ну и где тут мой провожатый? — появилась Нинка в дверях по-зимнему. — Посошок длиннее, чем посиделка? Или делим пиджак по-честному? Мне не надо. Рви пополам. Всем спасибо, кстати, за вечер. Извините, что без скандала. И не спорьте, да, без скандала. И счастливо вам оставаться. Ну пошли уже. Засыпаю.

— Ну давай, Ангола. Чтоб в добрый час.

— В добрый час! Ну, давай, Иван.

— Хлопни дверью поубедительней.

— Будет сделано, генераль!

Вот, уход почище явления. Вот такая перипетия. Баба с возу, да с мужиком — и кобыле враз полегчало; двум кобылкам и скакуну. Чем не байка «пусти козла в дом»? А потом, намыкавшись, выпусти, и просторно станет в том же пространстве, где ты прежде маялся теснотищей. Грюк двери долетел сюда из прихожей, и втроём нам стало так по-родному, будто мы знакомы с детского садика, будто мы с роддома не расставались; мягко, внятно, тепло и просто растворил этот миг барьеры, подозрения и сомнения между мной и моими гостями; переплавилось всё мгновенно вдруг для нас в сплошное доверие, в тишину, правдивее слов любых, в свет, который во тьме и светит, в неизведанную любовь. Вот же, блин, у Творца ничего не зря. Вот такая перипетия. Демиург он и в Африке Демиург. И в Одессе. И в этой комнате. Чуть не вскрикнули все

втроём, чуть не выпрыгнули из кресел. В перегляды пустились, как за мечтой; головами вертим от глаз в глаза; жаль, своих глаз не вижу, но вижу эти; и они, эти взгляды, выше соитий, они глубже их и пронзительней. Вот, молчим втроём, и втроём в глаза друг другу глядим, и не можем остановиться, и не можем прервать молчания. Да, чудны дела твои, Господи. И Хорол-речка, смотрю, исправилась. Закурил так, как будто бы мне семнадцать и на склонах под звёздами поцелуй, тот, которому нет конца. Разглядел наконец я глаза Багиры, — сколько дней вот не удавалось, — и они к немалому удивлению оказались не черными и не карими, а как раз голубыми с серым, сквозь который янтарный свет. В общем, снова не разобрался. Анжелика ж и в этот раз пребывает в полном подобии с тем портретом, что для Нарышкиной написал нам Боровиковский. Вкусна «Ява», и вкусен миг. Не подам я голоса, и они не станут; промолчим до Нового года.

— Ну и как вам, девочки, наша Ниночка? Каковы наконец впечатления?

— Погодите, Иван Александрович. Это что сейчас с нами тут? Что за ток такой пронизал вдруг?

— Молодец, мать. Озвучила за двоих. Как ушли они, да? Как вольготно стало.

— Так уже ж сами всё сказали. И про ток, и про бабу с возу. И вольготно нам с вами, да? Это Тантра, девочки, в гости к нам. Вот такое Её Величество.

— Так давайте уже. Давайте?

— Так уже ж даём. Не заметила? В переглядах, Джика, сейчас у нас, вот, вот в этих вот переглядах, сильно больше, чем можешь думать. Говорю же, уже пришла. И проникла в нас, как только грянула

дверь, и связала нас воедино своей тонкой светлой эротикой. Сами ж видите. Это Тантра. Уже она. Вот такую вот для начала и давайте попрактикуем через взгляды и разговоры. Неотъемлемый элемент. Не артачьтесь и оргазмируйте. А капризничать дома будешь.

— У тебя, мать, тоже бывает так, что не знаешь, шутит он или нет? Обожаемый наш Южанин.

— У меня такое, Ликочка, сплошь и рядом. Но сейчас вот знаю, не шутит. А велит нам с тобой relax and enjoy.

— Ха! Так это, я же не дурочка. Я спросила риторически. Он же дразнится. Да, Ванюш? Баядерки самостоятельно возбуждаются пускай, да?

— А неглупо сказано, Анжелика. Ну не мне же их возбуждать.

— Так и спору нет. Сералю сералево!

Анжелика весело рассмеялась; рассмешила и нас с Багирой. Вот тантристка неугомонная.

— Ну а как вам, девушки, перерыв на сон?

Анжелика в сердцах сказала:

— Так и думала, спать погонят!

А Багира сказала из кресла с ногою на ногу:

— Ну а я не думала, но, пожалуй, не откажусь. Хорошо бы поспать, да всё переспать. Хоть меня и никто не спрашивал. Да?

— Ну давайте хоть вместе ляжем. Вань, ну чего тебе, правда, стóбит?

— Спим раздельно, Джика. Команда по кораблю. Надо выспаться в самом деле. До двенадцати не будить. А сейчас без четверти шесть. Котёл на столе, смотрите. Чтoб не вешали мне лапшу, что не знаете

сколько времени. Захватите отсюда все пеплы. И приветы вашим Морфеям!

Пожелал доброй ночи. Багиру поцеловал нежно в губы, не долго, но с пониманием. Анжелику поцеловал, точно также, ну, может быть, с назиданием. Баю баюшки, девочки, баю бай.

Наконец один. Как не вспомнить «пусти козла». Приоткрыл двери на балкон, задёрнул плотнее шторы, погасил оба торшера, зажёл зеленую лампу у себя на столе, пробежал глазами страничку опуса, что сейчас в работе, про Дороти и барона, пяток слов там вычеркнул, два добавил и улёгся на шкуру, укутался в спальник и вдохнул наконец и выдохнул; и не знал, что и думать мне, как мне быть. Зато знал, как уснуть за одну минуту; под Чарджоу всему учили; вспомнил я бессмертного капитана, что разжалован был в капитаны из подполковников, пожелал ему всех благ на том свете и уснул, как учили, как он учил.

И сперва мой сон богатырским был, и дышалось мне как в бору сосновом на утёсе над океаном, и собою доволен, ай молодец! и другими, ай молодцы же! получили все по серьгам, и досталось каждому, по испросу, лучшее, ровно то, что надо на этот час, этот день, на эту дорогу, в рыск, в разлуку, на дружбу и на любовь, то и есть дары бытия, не зачванишься — пригодятся; пригодятся Баранову с Лидкой с Санькой, мне с Багирой и Анжеликой, Нинке с Гариком, папе с мамой, и Олежке там с Репой и Антониной, «Балаклаве», хоть та в тумане, так тем более пригодятся; на манер такой богатырский пропитало меня принятие всего сущего с уважением и смирением, всё приемлем, как нас учат учителя; и причин для

упрёков к себе не сыскал, и премного собой доволен; а потом вдруг откуда-то из ниоткуда появился ко мне сам дьявол и немедленно взялся меня пугать тем, что к Тантре копыто он приложил, и греха в ней хоть отбавляй, не годится в ней христианину, ничего ж в ней нет христианского, и гореть за неё не перегореть; что ты знаешь, Иван, про эту про Индию? вопрошал меня дьявол как завуч Леон Семёныч, гроза школы и всех непутёвых, кто, Иван, вообще тебя надоумил туда соваться?! не иначе как старшеклассник, не иначе Серёга Щёкин, а то, может, Володя Шабля, а то, может, Репин Максим? сознавайся, облегчи душу, и держись от Тантры, как от огня; отбояриться от Леона ну никак не проще, чем от врага; попытался на Дзен сослаться, мол, я дзеновец, не тантрист; но безжалостно тут же обоими поднят на смех; и тогда я призвал Иисуса и прошу Его подтвердить, что Он Сам позволяет мне Дзен, Сам мне Тантру не воспрещает, и что дружбу с Доном Хуаном допускает легко и просто, и контакт с Великими Сириусами, и не видит он в том угрозы ни Себе, ни Будде и никому, не забыть бы про Лао-цзы, и не видит противоречий в том, как раб Божий Иоанн пробивается в свет сквозь тьму; и Иисус, спасибо, пожаловал и весомо всё подтвердил, да ещё от Себя добавил, но Леону это до сраки, он на это с высокого купола планетария, на котором креста-то как раз и нету; он же бывший семинарист и давно уже попарасстрига, и единственный в СССР беспартийный он, значит, завуч; на него, как видим, что как залезешь, так и слезешь, непотопляем; ну, а дьявол нивроку скрылся, юркнул он в Леона Семёныча, отмолчался там, отсиделся и дождался, когда Иисус по делам

прошествовал дальше, и тогда на пару в одном Леоне они стали меня стращать мерзопакостными картинками: то в Багире проглянет враг человечества, и затопчет Багира меня копытцами, то проглянет он в Анжелике, и мгновенно она в экстазе меня рожками забодает, да так ловко, не отобьёшься, никакой приём не сгождается; то вот в Нинке проглянет дьявол, и она сведёт меня замуж, а потом и в могилу запросто, а потом возьмётся за Гарика, ну, а Гарик сам ушёл недалеко, а вдруг зыркнул в меня по-дьявольски и рассорился навсегда от обиды, что подружился я сильней, чем с ним, с укротителем, и Баранов сам, тут как тут, и как жажнет по мне хлыстом и велит полезать на тумбу, а оттуда прыгать мне сквозь огонь и ходить по кругу на задних лапах; глянул дьявол сквозь Антонину, и она запретила с Олежкой видаться, ну а Репа в аммаме с кистью и тушью, он малюет китайский иероглиф «лонг», то бишь, значит, дракон по-ихнему, это Репа одной рукой, а другой рукой Репа с улыбкой дьявольской, и она же Леон-Семёныча, тычет в грудь мне трофейным «Стечкиным» и грозится меня урыть и за то, что когда-то спал с Антониной, и за то, что если я не подамся навсегда в Москву и там прослыву; и картинки эти меня крушили, и картинками этими я пронзался. Не пустил я Леона Семёныча и того, кто в нём бесновался, подобраться к Олежке с Санькой и сквозь них, сквозь моих сыновей, на меня прозыркнуть по-дьявольски; не позволил, а вот вам дудки! Арсенал мой был в тот миг невелик супротив такого двойного натиска, потому я взял да проснулся. Против лома сыскал им такой облом. Пробудился в

поту, скрежеща зубами, но зато оставил с носом врага и завуча. Мной в отряде довольны были б.

Приводил в порядок дыхание, выдыхал из себя поруганность; ну вас нафиг такие сны, убирайтесь и не вертайтесь. Кашлял долго, едва прокашлялся.

Вышел в снег на балкон, помочился в снег, распознал в себе начало запоя и хлебнул из бутылки «Куяльник» в комнате, и вернулся на шкуру, лёг и уснул.

И забрался, не сразу, а вскоре после, почему-то не в свой сон, а в сон Багиры, и притих, не дыша там, чтоб не спугнуть, и смотрел на то, что она там видит; а она там видела сыновей, что родит мне в любви и счастье, и пугалась, что не сумеет, и страдала, что нету ей веры тут, и терзалась тем, что ей предстоит рассказать о себе, да так, чтоб я понял, а не стал бы пенять ей, а приголубил, посочувствовал и признал; и терзалась тем, что не угадаешь никогда со мной, как я поступлю; и в том сне шла Багира по снегу на лыжах с очень сильным мужчиной, своим отцом, и с таким у отца гранитным лицом, словно он Чарльз Бронсон в семёрке великолепной, и другие мужчины там с ними на лыжах шли, тоже сильные, тоже с лицами, и убили они медведя, что на них из берлоги выскочил, и я понял с тоской и болью, почему он на Зее летом навсегда простился со мной; где Алтай, а где Зее? но это ж сон, ну, а кроме того Благовещенск ближе к тем краям, где мой мишка ходит, где мой мишка дрыхнет зимой; а потом во сне у Багиры раздалась вдруг крики победы, и врубили на всю мощу гимн Советского нам Союза, и на золото на медали на груди у Багиры слезинки капали; и от этих души щипаний унесло меня прочь с трибуны и внесло к

Анжелике в сон, где она спала, не проснувшись, и во сне ей мечталось сладко обо мне в её исцелениях, и во сне у неё во сне я таким предстал распрекрасным, что едва вот сам не проснулся от могучего осмысления, до чего же я, блин, хорош, до чего я добр и отважен; удержался, чтоб не проснуться, и продлил ещё себе сладкий случай, чтоб ещё собой же полюбоваться, с Анжеликой на пару, чтоб позвончей, без зазрений и оговорок, без стыда, друзья, и без совести, ах, какой же я в самом деле, ну ни дать ни взять Одиссей, а то, может, что и покруче, обалденный Ванька чувак; где другой такой? а нигде; и от этой халвы тошнит, в сладкий сон тошнота прихлынула, обожрался вот сдуру сладостей так, что горько теперь во рту, так, что там будто кот нассал, и уже не догнать мерзавца, да и толку в том, чтоб догнать...

Вот, был вынужден распахнуть глаза, обнаружить тут Анжелику на коленях у изголовья, повоенному подхватиться, чтобы выскочить на балкон и с балкона стошнить на улицу. Но стошнить нам нечем, один лишь рык; вот такой тебе Хрид Дхаути, вот такая нам прана-вайю.³² А тут снег валит под

³² Хрид Дхаути — очищение сердца. В упражнениях Хрид Дхаути используется приём вызывания рвотного рефлекса. Основная задача: направить вверх нисходящий пранический поток апана-вайю. Апана отвечает за реализацию всех функций выделения, и поэтому всегда течёт вниз. Навстречу апана-вайю течёт не менее мощный поток — прана-вайю, который отвечает за газообмен и ассимиляцию энергии организмом. При вызывании рвоты апана-вайю начинает течь вверх. Тогда прана-вайю реактивно разворачивается и течёт вниз. Обычное для организма течение процессов жизнедеятельности, приводящее к рассеиванию жизненной силы, преобразуется. Вместо рассеивания энергия начинает накапливаться в зоне Самана-вайю — срединного пранического

косым углом в крупных хлопьях в таком количестве, что не видно внизу и улицы, ну а, значит, и нас оттуда. И ревёт ревун. Вот и я порыкал. Отдышался. Вернулся в комнату.

— Ты чего здесь? Заняться нечем?

Анжелика стоит у полок, прислонившись спиной к книгам; поднялась на носки и стала на пятки, и ещё раз так, и ещё.

— Прекрати.

— Прости. Но я не будила. Я ждала терпеливо.

— Ну, дождалась?

Протянула мне «Ориент».

— Вот. Ещё пятнадцать минут.

— Куда?

— До полудня.

— Тарабань, Джика, водку и закусить. Не найдёшь, разбуди Багиру. И быстро надо.

— Так уже, Ванюша.

— Что, блин, уже?

— Так была тут, пока ты был на балконе.

— Так бегом и поторопи. Пока прана не повернулась.

— А вам доброе утро всем! — и Багира вступила из тёмного коридора сюда в сумрак к нам с подносом в руках; не вступила даже, а ворвалась, в оранжево-жёлтом «Найке» и спаниелях; сумрак тут от лампы зеленоватый, а в просвет между шторами серый, как

потока. Самана большей частью локализуется в области солнечного сплетения, где находятся складские резервуары Праны. От этого силы человека растут, аура очищается и уплотняется. При переворачивании потоков апана-вайю и прана-вайю внутреннее время организма начинает течь вспять, что приводит к омоложению всех тел человека.

талый снег. — Ох, надеюсь, что угадала! Вот, Джованни. Я молодец?

— Не включай торшер. И вообще, блин, не тарахтите.

На подносе вчерашняя недопитая, огурец, капуста, солёные помидоры.

— А послушай, Багира, не в службу, а в дружбу, — от такого зачина Багира глянула на меня, а во взгляде: а в чем подвох? — А сгоняй на кухню за азарпешой.

— Бог ты мой! Я не знаю, что это.

— Да половник такой серебряный. На стене там. Рядом с ножами.

Она справилась. И по-быстрому. И за это ей наше с кисточкой.

Азарпеша вот:



Это чудо-подарок мне от Давида из прекрасного Кутаиси, но об этом, братцы, ну не сейчас. Я налил в азарпешу, как понимал. И старинное серебро мою водку в себе всхрусталило, проняло собой, приосанило. Взял за ручку, рука нетвёрдая, но придётся ей всё же справиться. Взял за ручку, поднёс к губам.

— Ну, давайте, давно не виделись. Пожелайте мне в добрый час.

Пил я медленно, глотал быстро, и за всё Всевышнему возносил. Зажевал капустой и всем, что тут. Помолчим, подождём. Убедимся сами.

— Фух, ребятушки! Ну так ещё можно жить.

— Это он? Запой? — спросила Багира.

Я кивнул.

— Откуда такая сноровка?

— От отца, Джованни. Не от Баранова.

— Ясно, Дусечка. Вот так-так. Ни майора, ни генерала эта чаша не миновала?

— Слишком много всего свалилось? — Анжелика спросила. — Всего и сразу? Можно сесть нам, Вань? Или как?

— А чего стоите? Мне полегчало. Разумеется, плюх зи жоп.

Они сели, притихшие, с толку сбитые. Багира напротив, как бы в своё уже, где вчера был Гарик, тоже в своём же, Анжелика справа, в то, где намедни Багира сменила Ниночку. Анжелика спросила:

— А как теперь? Как теперь нам? Новые правила?

— Да почти никаких. Это ж первый день. Тут всё в гору, а не под гору. Тут пока свистай всех, Джика, наверх!

— Страшно спрашивать даже.

— Ты про лямур? Будет, Джика. Вот это я гарантирую. Вот теперь уже непременно.

— А когда же? Да вы не смейтесь. Ну, мать, и ты туда же! В самом деле уже, когда?

— Ишь чего захотела! Так сроки ж людям неведомы.

— Вань, ну хорош стебаться. Ну в самом деле! У меня ж там Кирюша, и как мне быть?

— А по совести, Джика. Скажи, Багира? Или сразу со смертью, Джика, советуйся, как советует Дон Хуан. Что важнее? Кирюшу досыта накормить от наших щедрот? Или с нами остаться в Тантре и принять от нас исцеление? Ну, и нам себя подарить. Либо, значит, травматология, либо с нами тут. Либо, либо. Одно из двух.

— Так, Иван Александрович, вы не поняли. Накормить уже накормили.

— А действительно я не понял. Что к чему? Кто? Когда? Зачем?

— Ну, мы, Ваня, пока ты спал. Я сгоняла уже, вернулась. Мне Багира всё в лучшем виде.

— Наругаю потом, сейчас не до вас. Так а что ты, Джика, тогда тут мямлишь?

— Говорю же, не поняли, — сказала Багира. — Смысл тут в том, чтоб сидеть там в травматологии, развлекать больного, чтоб не куксился. А не то закуксится. Понимаете?

— Да? Как ловко! Вот тунядец. Глиста бледная. Червь болотный. Повторю, Джика. Либо, либо. Это раз. А второе, девочки, без меня дверь не открывать. Никому. И даже себе. Усвоили?

Анжелика вздохнула.

— А сколько времени?

— Ровно полдень. Бомкать не стану, сильно долго. Но просто знайте. Просто видьте вот и смотрите, — показал им свой «Ориент». — Видно, девочки? Ровно полдень.

Ну и тут оказалось, что Гарик не выткнул — позабыл, захмелел, блин, и напортачил. И сюда нам из тёмного коридора зазвонил пронзительно телефон.

26 декабря, 1991, с полудня до полуночи.

Почему с чужими родней, чем с близкими? Почему без похоти хорошо? Как нестранное сделать странным? Для чего нам жизнь? И о пользе радости.

Даже вздрогнули с непривычки.

Ну а он звонил и звонил.

— А хотите, Иван Александрович, мы трубу на пару с Ликой поднимем? И ответим туда в два голоса.

— Точно, мать! И разгоним всех нахрен пигалиц!

— Похмелялся, девочки, смотрю, я, слуга ваш контуженный, ну а вас отпустило, смотрю, по-взрослому.

И смешно нам, и слава богу. Но подумать надо и обо всём; ведь когда-нибудь всё закончится, даже этот Октомерон, и начнётся что-то другое, и желательно соответствовать, не с пустыми руками явиться к поезду. А для этого нужно что? А немного — тарелочки, блин, подкручивать. Выражение это нам в обиход ввёл отец мой, глядя на то, как мы с Гариком и со всеми в ранней юности напропалую прожигаем свои денёчки. Раз уж так вам, ребята, видится надо дурью вам маяться, не иначе, говорил нам, трубкой дымя, то тогда хотя б озаботьтесь тем, чтоб тарелочки всё ж подкручивать, а не то потом не догнать себя. Ну а смысл тут вот в чём. Тут речь про эксцентрика на манеже; у него шесты там, такие палки, пять их, шесть, а, может, с десятков, прочно

